



КОНТРАКТ

БЫВШАЯ ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ

Он купил её правду.
Но не смог купить прощение.

18+

Арина Вей

Бывшая жена по контракту.

Он купил её правду, но

не смог купить прощение

<https://litres.ru/74047328>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ника Орлова приехала подписывать развод в красном платье и с твёрдым намерением больше никогда не быть женой Максима Громова.

Но бывший муж вместо документов кладёт перед ней договор.

Три месяца она остаётся его женой на людях, возвращается в его дом, появляется рядом с ним на закрытых вечерах и делает вид, что их брак ещё жив. Взамен Максим даёт ей деньги, квартиру, оплачивает лечение матери и обещает развод без споров.

Ника соглашается не ради любви. Ради свободы.

Только жить рядом с мужчиной, которого ненавидишь, намного проще, чем не вспоминать, как сильно ты его любила.

А когда между ними снова вспыхивает то, что нельзя прописать ни в одном договоре, Ника понимает: этот брак может закончиться разводом или стать началом совсем другой истории.

Арина Вей

Бывшая жена по контракту.

**Он купил её правду, но
не смог купить прощение**

Бывшая жена по контракту

БЫВШАЯ ЖЕНА

ПО КОНТРАКТУ

АРИНА ВЕЙЛ

Контракт закончился. А жена осталась.

Глава 1. Развод назначен на одиннадцать

Я приехала разводиться в красном платье.

Не потому, что собиралась соблазнять бывшего мужа. Господи, нет. Для этого у меня ещё оставались остатки самоуважения и один неудобный лифчик, купленный в приступе злости, когда я решила, что женщина после развода обязана выглядеть так, будто её не бросили, не добили и не вынесли из брака в мусорном пакете, а просто слишком долго держали в скучной комнате, и вот наконец она вышла на воздух. Красное платье я надела как предупреждение. Себе — что я не умерла. Ему — что я не вернулась. Просто пришла поставить подпись.

Помаду я тоже выбрала красную. Продавщица в маленьком магазине у дома, женщина с лицом человека, который пережил трёх мужей, два ремонта и одну неудачную попытку стать счастливой, сказала: «Этот цвет вам к победе». Я улыбнулась, хотя победа почему-то пахла не шампанским, а валерьянкой в маминой сумке, мокрым асфальтом и дешёвым освежителем в машине, на которой я ехала через полгорода к человеку, у которого когда-то была привычка целовать меня в висок перед сном, а потом появилась привычка не приходить домой до полуночи и говорить: «Ника, давай завтра, я устал».

Развод был назначен на одиннадцать.

В одиннадцать ноль семь я уже сидела в приёмной на сорок втором этаже и смотрела на город через стеклянную стену. Москва лежала внизу серая, мокрая, нервная, как женщина после плохого свидания: вроде целая, но лучше не трогать. За стойкой тихо работала девушка в бежевом костюме. На столике рядом стояла вода в бутылках без единой капли жизни. В таких местах даже вода выглядит так, будто подписала соглашение о неразглашении.

Максим опаздывал.

Конечно.

Даже наш развод он умудрился поставить после совещания.

Я смотрела на часы и старалась не злиться, потому что злость — это тоже связь. А я сегодня приехала связь разорвать. Аккуратно, официально, с подписью, печатью и той тонкой улыбкой, которую женщины надевают на лицо, когда хотят доказать бывшему мужу, что спят прекрасно, едят регулярно и вообще всё у них замечательно, кроме маленькой детали: по ночам иногда хочется выть в подушку так, чтобы соседи вызвали не полицию, а священника.

— Ника Орлова? — спросила девушка за стойкой.

— Пока ещё Громова, — ответила я и тут же пожалела.

Фамилия сорвалась сама. Нелепо. Как старая привычка проверять его сторону кровати рукой, хотя там уже три месяца никто не спал. Девушка вежливо улыбнулась, будто ни-

чего не заметила. В дорогих приёмных вообще все умеют делать вид, что не замечают чужого унижения. Думаю, это у них входит в должностные обязанности.

Я поправила папку на коленях. Внутри лежали мои документы, копия заявления, ручка и листок, на котором я вчера вечером написала фразу: «Максим, я больше не твоя жена». Написала пять раз. Сначала криво, потом ровно, потом зло. Последний вариант получился почти красивым. Я хотела произнести это спокойно. Без дрожи. Без обвинений. Без того маленького жалкого зверька в груди, который всё ещё поднимал голову каждый раз, когда кто-то произносил его имя.

Двери раскрылись беззвучно.

Я поняла, что он пришёл, раньше, чем подняла глаза. Не потому, что у нас была какая-то великая любовь с тонкими душевными нитями и прочей чепухой, которую любят писать в плохих книгах. Просто у Максима Громова всегда было особое умение менять воздух вокруг себя. До него комната была комнатой. После него — его территорией.

Он вошёл в тёмном костюме, без галстука, с расстёгнутой верхней пуговицей рубашки, будто развод с женой был не событием, а небольшим неудобством между двумя важными встречами. Волосы чуть влажные от дождя. На запястье часы, за которые можно было купить половину моего спокойствия, если бы оно продавалось. Лицо — такое же невозможное, как всегда: жёсткое, красивое, уставшее. Тот тип муж-

ского лица, на которое надо смотреть с осторожностью, потому что оно обещает женщине беду и почему-то заставляет её самой открыть дверь.

Я ненавидела, что заметила всё это сразу.

Каждую чёртову деталь.

— Ника, — сказал он.

Одно слово. Моё имя.

И всё, что я три месяца собирала в себе по косточкам, тихо хрустнуло где-то внутри.

— Максим, — сказала я. — Ты опоздал на развод.

Он посмотрел на часы так, будто время было его подчинённым и просто слегка подвело отдел.

— На семь минут.

— Правда? Первые две я ещё надеялась, что ты одумался и решил не приходить.

Уголок его рта едва заметно дрогнул. Раньше это означало, что я его рассмешила. Теперь я не хотела знать, что это означает. Я вообще больше не хотела быть человеком, который умеет читать лицо Максима Громова по миллиметру.

Его взгляд скользнул по мне. По платью. По губам. По рукам, которые я слишком крепко держала на папке. Он ничего не сказал, и это было почти хуже, чем если бы сказал. Максим всегда умел молчать так, будто уже раздел женщину до главной её слабости и теперь решал, стоит ли делать вид, что он её не заметил.

— Пройдём, — произнёс он.

— Куда? Разве нельзя подписать здесь? Или для развода с тобой тоже нужен зал переговоров, вода без вкуса и трое людей с каменными лицами?

— Здесь неудобно.

— Для кого?

Он не ответил. Просто открыл дверь в свой кабинет.

Я встала. Колени, предательницы, на секунду стали мягкими. Я списала это на каблуки. Каблуки были новые, злые и куплены специально для этого дня. В них невозможно было бежать, зато очень удобно было выглядеть женщиной, которая никого не умоляет.

Кабинет Максима оказался таким же, как он сам: слишком просторным, слишком дорогим и слишком уверенным в собственной правоте. Тёмное дерево, стекло, тяжёлый стол, кожаные кресла, город за окнами и ни одной лишней вещи. Даже цветы отсутствовали. Правильно. Цветы на разводе смотрелись бы издевательски, хотя, зная Максима, он мог бы заказать белые розы просто потому, что они подходят к мрамору.

Я села напротив него и положила папку на стол.

— Давай быстро, — сказала я. — У меня ещё жизнь по расписанию.

— У тебя встреча?

— Да. С собой. Я давно её откладываю.

Он сел, но к моей папке не притронулся. Вместо этого достал из ящика другую. Чёрную, плотную, с серебристой за-

стёжкой. В таких папках обычно лежат вещи, после которых люди либо становятся богаче, либо начинают ненавидеть себя ещё сильнее.

— Это не документы о разводе, — сказала я.

— Нет.

Я посмотрела на него внимательно.

— Максим.

— Выслушай сначала.

— Нет, ты послушай сначала. Я приехала подписать развод. Не обсудить. Не перенести. Не «подумать ещё». Не посидеть красиво напротив тебя, пока ты решаешь, как лучше устроить мою жизнь. Я уже устроила. Без тебя. Плохо, криво, иногда с вином на ужин и овсянкой из пакетика утром, но сама.

Он положил папку передо мной.

— Открой.

— Я не собака, чтобы выполнять команды.

— Тогда считай это просьбой.

— У тебя просьбы всегда выглядят как приказ в дорогой обложке.

Он выдохнул. Тихо. Почти незаметно. Я знала этот звук. Так Максим сдерживался, когда хотел сказать что-нибудь резкое, но понимал, что это испортит сделку. Наш брак, если честно, во многом и был такой сделкой: я делала вид, что мне не больно, он делал вид, что ничего не происходит, и оба считали себя взрослыми людьми.

Я открыла папку.

На первом листе крупно было написано: «Договор».

Ниже — моё имя. Его имя. Срок: три месяца.

Я прочитала первую страницу. Потом вторую. Потом вернулась к первой, потому что мозг отказался принимать это с одного раза.

— Ты с ума сошёл, — сказала я.

— Нет.

— Это не ответ. Это диагноз, с которым ты не согласен.

— Три месяца, Ника.

Я подняла глаза.

Он смотрел прямо. Спокойно. Слишком спокойно для мужчины, который только что предложил бывшей жене остаться его женой ещё на три месяца, будто речь шла о продлении договора на вывоз мусора.

— Три месяца ты остаёшься моей женой на людях, — сказал он. — Появляешься со мной на нескольких закрытых вечерах. Возвращаешься в дом. Не даёшь повода для слухов. После этого получаешь квартиру на своё имя, сумму, указанную в приложении, и развод без споров. Я подписываю всё, что ты хотела.

— Как щедро. А душу расписать по графику тоже нужно? По вторникам и четвергам с семи до девяти?

— Не начинай.

— Я ещё даже не начинала.

Я перелистнула страницы. Буквы расползались перед гла-

зами. Квартира. Деньги. Лечение матери. Последний пункт я перечитала дважды, медленно, как читают приговор.

— Ты оплатил счёт? — спросила я.

— Первый взнос.

— Без моего согласия?

— Его нужно было внести сегодня.

Я засмеялась. Не красиво. Не женственно. Скорее так смеются люди, которые нашли таракана в свадебном торте.

— Конечно. Конечно, ты оплатил. Ты же Максим Громов. У тебя, наверное, даже извинения проходят через бухгалтерию.

— Твоей матери нужно лечение.

— Моей матери нужен не ты.

— Ей нужен врач.

Я сжала пальцы на листах так сильно, что бумага хрустнула.

— Не смей. Не смей прятаться за моей матерью. Это низко даже для тебя.

В его лице что-то изменилось. Совсем немного. Тень прошла по скулам, взгляд стал жёстче. Раньше я бы испугалась этой перемены. Теперь мне почти понравилось: значит, попала.

— Я не прячусь, — сказал он. — Я предлагаю решение.

— Ты предлагаешь купить меня на три месяца.

— Нет.

— А как это называется?

— Я покупаю время.

Вот тут мне стало по-настоящему холодно.

Не от злости. От того, как спокойно он это сказал. Словно время женщины — вещь на полке. Словно можно прийти, выбрать нужный срок, заплатить и поставить печать.

Я встала.

— Нет.

— Ника.

— Нет, Максим. Нет. Красивое, простое, короткое слово. Даже тебе должно быть понятно.

Я взяла свою папку, но он не двинулся. Не остановил. Не схватил за руку. Ничего такого, что позволило бы мне хлопнуть дверью с достоинством и потом пересказывать Марте, как я красиво ушла. Он просто сидел и смотрел на меня так, будто уже знал: до двери я не дойду.

И, что самое отвратительное, он был прав.

Потому что в голове уже стучали цифры. Счёт за лечение. Просроченная оплата за помещение, где я пыталась открыть свою маленькую книжную мастерскую. Мамино «не переживай, дочка, я подожду», сказанное голосом человека, который всю жизнь ждал и теперь просто не умеет требовать. Мой пустой кошелёк. Моя гордость, которая выглядела роскошно только со стороны, а внутри была худая, злая и давно не ела.

Я ненавидела его за это.

За то, что он увидел не меня. Не мою силу. Не моё красное

платье и красную помаду. Он увидел трещину. Ту самую, через которую можно просунуть деньги, помощь и своё мерзкое «я всё решу».

— Ты специально всё узнал, — сказала я.

— Да.

Честность иногда хуже лжи. Ложь хотя бы можно разоблачить. А честность стоит перед тобой в дорогом костюме и говорит: да, я ударил туда, где больно.

— Ты знал про долги.

— Да.

— Про маму.

— Да.

— Про мастерскую.

— Да.

— И решил, что это хороший момент, чтобы предложить мне стать твоей женой по договору?

— Ты уже моя жена.

Я резко посмотрела на него.

— Не путай бумагу с жизнью.

— Я как раз пытаюсь выиграть немного жизни.

Это прозвучало слишком тихо. Почти не похоже на него. И именно поэтому я разозлилась сильнее. Потому что Максим не имел права вдруг становиться живым в день, когда я наконец собралась вычеркнуть его из себя. Он должен был оставаться холодным, удобным для ненависти, дорогим мерзавцем, которого можно презирать без поправок. А он сидел

напротив, смотрел на меня устало и говорил так, будто эти три месяца нужны не только его делам.

— Зачем? — спросила я. — Только без красивых слов. Я от них в браке уже наелась.

Он помолчал.

За окном по стеклу потянулись тонкие дорожки дождя. Город внизу расплывался, как тушь на плохом письме.

— Через месяц совет голосует по проекту старого речного вокзала, — сказал он. — Мы четыре года добиваемся, чтобы заброшенное здание стало городским культурно-образовательным центром: библиотекой, мастерскими и аудиториями. Ветров хочет перехватить проект, а люди, от которых зависят голоса, не любят нестабильность. Развод сейчас даст ему слухи, вопросы и удобный повод говорить, что я не способен удержать даже собственную жизнь. Мне нужно время.

— Для компании.

— Да.

— Вот теперь узнаю родного человека.

Он сжал челюсть.

— И для тебя.

— Не надо.

— Надо. Ты уйдёшь с деньгами, квартирой и оплаченным лечением матери. Без судов. Без войны. Без того, чтобы доказывать мне, что ты сильная, пока сама разваливаешься на части.

Я ударила ладонью по столу. Не сильно, но звук получился

резкий, злой, приятный.

— Я развалилась не из-за бедности, Максим. Я развалилась в браке с тобой.

Он замолчал.

И это молчание вдруг стало не пустым, как раньше, а тяжёлым. В нём было что-то, чего я не захотела рассматривать. Усталость? Вина? Позднее понимание? Какая разница. Женщины слишком часто путают мужское молчание с глубиной, а потом годами тонут в собственной фантазии.

— Я не вернусь к тебе, — сказала я.

— Я не прошу вернуться.

— Ты просишь жить в твоём доме.

— На три месяца.

— Ты просишь улыбаться рядом с тобой на людях.

— Да.

— Носить кольцо?

— На встречах.

— Спать в твоей постели?

Его взгляд изменился. Не сильно. Но я заметила. Проклятая привычка.

— Нет, — сказал он. — Это не входит в договор.

— Какая жалость. А то я уже начала думать, что ты окончательно потерял вкус к красивым формулировкам.

— Ника.

— Что?

— Я никогда не покупал твою постель.

Я усмехнулась, но усмешка получилась неудачной. Слишком быстро дрогнула.

— Нет. Ты покупал всё вокруг неё.

Он опустил глаза на мои руки. Я тоже посмотрела и увидела, что всё ещё держу листы. Не ушла. Не хлопнула дверь. Не спасла свою гордость. Просто стою в красном платье посреди кабинета бывшего мужа, держу его договор и считаю в голове, сколько стоит свобода, если она продаётся вместе с лечением матери.

Свобода оказалась дорогой.

Гордость — ещё дороже.

— Я хочу изменить условия, — сказала я.

Максим поднял глаза.

— Говори.

— Отдельная спальня.

— Хорошо.

— Я работаю как раньше. Ты не вмешиваешься в мою мастерскую, в мои книги, в мои дела.

— Хорошо.

— Твоя помощница не распоряжается мной, моим временем и тем, как мне улыбаться.

— Ирина занимается моим расписанием.

— Значит, пусть занимается тобой. Меня у неё в расписании не будет.

Он чуть наклонил голову.

— Ревнуешь?

Я рассмеялась. На этот раз почти красиво.

— Максим, я развожусь с тобой. Ревность — это для женщин, которые ещё надеются.

— А ты не надеешься?

Вопрос был тихий. Слишком тихий.

Я подошла ближе к столу, наклонилась и поставила палец на договор.

— Я надеюсь только на то, что через три месяца увижу твою подпись на разводе.

— Увидишь.

— И квартиру.

— Да.

— И деньги на лечение мамы.

— Да.

— И чтобы ты больше никогда не решал за меня.

Вот тут он не ответил сразу.

Маленькая пауза. Почти незаметная. Но именно в таких паузах и живут настоящие браки — не в поцелуях, не в красивых поездках, не в фотографиях, где оба улыбаются так, будто у них не засохло всё внутри. Брак умирает в паузах. Когда один ждёт ответа, а второй выбирает удобное молчание.

— Постараюсь, — сказал он наконец.

— Плохой ответ.

— Зато честный.

Я смотрела на него и вдруг поняла, что вот это, наверное,

и есть самое опасное. Не его деньги. Не дом. Не три месяца. Не Ирина с её идеальной осанкой и лицом женщины, которая никогда не плачет в ванной. Самое опасное — что Максим иногда умел быть честным именно тогда, когда мне нужно было ненавидеть его без помех.

Я села обратно.

Он медленно положил передо мной ручку. Чёрную, тяжёлую, дорогую. Конечно. Даже ручка у него выглядела так, будто подписывала чужие судьбы с лёгкой скукой.

— Три месяца, — сказала я.

— Три месяца.

— Потом развод.

— Да.

— И если ты хоть раз попытаешься использовать мою мать, мои долги или мою слабость против меня...

— Что?

Я взяла ручку и посмотрела ему в глаза.

— Я сделаю эти три месяца худшими в твоей жизни.

Он впервые за всё утро улыбнулся. По-настоящему. Не широко, не радостно, а так, что у меня под кожей вспыхнула старая, злая память: вот таким он был в начале. Опасным. Живым. Невозможным. Мужчиной, рядом с которым хотелось спорить, смеяться, раздеваться и бросать в него подушки, пока он не поймает тебя за запястья.

Я подавила эту память, как окурок.

— Я почти рассчитываю на это, — сказал он.

Я подписала.

Буквы моего имени легли на бумагу ровно, без дрожи. Ника Громова. Пока ещё. На три месяца. По договору. За квартиру, деньги, лечение матери и возможность однажды уйти так, чтобы не оглядываться.

Когда я отложила ручку, Максим не сразу забрал договор. Несколько секунд он смотрел на мою подпись, и мне почему-то показалось, что он видит не сделку. Не победу. Не удобное решение своих дел.

Он видит срок.

Три месяца.

Потом я поднялась.

— Поздравляю, — сказала я. — Ты купил себе жену до конца сезона дождей.

— Нет, Ника.

Я уже почти дошла до двери, когда его голос остановил меня.

— Что «нет»?

Он стоял у стола, высокий, тёмный, слишком спокойный для человека, который только что снова впустил в свою жизнь женщину в красном платье и с очень плохими намерениями.

— Я не купил жену, — сказал он. — Я купил время.

Я посмотрела на него и улыбнулась так, как улыбаются женщины, которым больше нечего терять, кроме последних иллюзий.

— Тогда молись, Максим, чтобы оно тебе понравилось.

Глава 2. Дом бывшей жены

Из кабинета Максима я вышла не женой и не бывшей женой, а чем-то средним, мерзким и юридически оформленным.

Есть женщины, которые после таких разговоров красиво идут по коридору, держат спину, щёлкают каблуками и выглядят так, будто им сейчас вручат статуэтку за лучшую женскую роль в драме про достоинство. Я тоже пыталась. Первые четыре шага даже получилось. На пятом каблук предательски скользнул по гладкому полу, и я едва не вцепилась в стеклянную стену рядом с приёмной. Девушка в бежевом костюме подняла глаза. Я улыбнулась ей с таким выражением лица, с каким люди обычно говорят: «Всё в порядке, просто я только что продала бывшему мужу три месяца своей жизни и теперь немножко учусь ходить заново».

— Вам вызвать машину? — спросила она.

— Нет.

— Максим Андреевич просил...

— Максим Андреевич уже сегодня достаточно просил.

Девушка опустила взгляд к столу, и я вдруг поняла, что она не виновата. Вообще никто в этой приёмной не был виноват, кроме мужчины за стеной, который умел превращать человеческую слабость в условия договора, и женщины в красном платье, которая только что подписала эти условия

ровным почерком. Я хотела сердиться только на него, но злость всё время возвращалась ко мне, как плохо брошенный мяч.

Лифт приехал почти сразу. Внутри пахло дорогим деревом, холодным металлом и чужими деньгами. Я смотрела на своё отражение в зеркальной стене: красное платье, красная помада, лицо женщины, которая должна была выйти из этого здания свободной, а вышла с новым сроком. Три месяца. Девяносто дней, если считать грубо. Девяносто завтраков, ужинов, взглядов, случайных прикосновений в коридоре, чужих улыбок на закрытых вечерах и моего собственного голоса, который будет говорить: «Да, у нас всё хорошо», хотя на самом деле у нас хорошо не было уже давно. У нас всё было дорого, красиво, молчаливо и почти мёртво.

На первом этаже я вышла в холл, где огромные растения стояли в чёрных кадках так неподвижно, будто им тоже платили за умение не вмешиваться. Дождь за стеклянными дверями стал сильнее. Москва окончательно раскисла. Люди входили в здание с зонтами, стряхивали капли, говорили по телефонам, несли свои дела, измены, сделки, обеды, задержки, маленькие ежедневные поражения. Я стояла посреди всего этого с договором в сумке и думала: интересно, если очень громко крикнуть, что я дура, охрана выведет меня вежливо или с пониманием? Телефон завибрировал в сумке. На экране высветилось имя Марты.

Я ответила.

— Ну что? — спросила она без приветствия. — Ты свободная женщина или мне уже открывать что-нибудь крепкое?

— Открывай.

— Так плохо?

— Хуже. Я подписала с ним договор.

На том конце стало тихо. С Мартой такое случалось редко. Обычно она умела отвечать сразу, особенно если разговор касался мужиков, глупости или моих попыток делать вид, что я справляюсь. Марта была редактором, подругой и человеком, который однажды пришёл ко мне с двумя пакетами еды, когда я третий день делала вид, что не хочу есть. Она сказала тогда: «Орлова, развод — это не пост. Его нельзя просто пролистать». Я тогда кинула в неё подушкой. Она разогрела суп и осталась ночевать.

— Какой договор? — наконец спросила она.

— На три месяца брака.

— Прости, я сейчас, кажется, услышала, как у меня умерла вера в твой разум.

— Она у тебя ещё была?

— Я хранила маленький кусочек. В коробочке. Для особых случаев.

— Выбрасывай.

Я вышла под навес у входа. Воздух был влажный, холодный, и от него у меня сразу заныли виски. Или это не от воздуха. Может, от того, что где-то наверху, на сорок втором

этаже, Максим Громов сейчас спокойно убирает в папку мою подпись, как убирают в сейф важную бумагу. Три месяца. Ника Громова временно продлена.

— Рассказывай, — сказала Марта.

— Он оплатил первый взнос за мамино лечение.

— Ах ты ж...

— Да.

— И ты поэтому подписала?

— Я подписала, потому что я взрослая разумная женщина, которая оценила условия договора и приняла взвешенное решение.

— Ника.

— Да, поэтому.

Я закрыла глаза. Под веками сразу возникла мамина сумка: старая, коричневая, с потертым ремешком, где в маленьком боковом кармане всегда лежала валерьянка, чек из магазина, помада цвета «мне уже всё равно» и аккуратно сложенный список лекарств. Мама умела болеть так, чтобы никому не мешать. Это было в ней самым страшным. Некоторые люди даже страдают с шумом, требуют внимания, места, заботы. Мама всю жизнь старалась быть удобной. Даже болезнь у неё будто извинялась за своё присутствие.

— Он воспользовался этим, — сказала Марта.

— Конечно воспользовался. Он вообще, когда видит чужую слабость, сразу достаёт ручку и составляет договор.

— Ты можешь отказаться?

— Теоретически — да. Практически — нет. Там такая неустойка, что мне придётся продать почку, твою почку и ещё, возможно, душу моего кота, если бы он у меня был.

— Ты же понимаешь, что это не про его дела?

Я открыла глаза.

Перед входом остановилась чёрная машина. Водитель вышел и посмотрел прямо на меня. Не ошибся. Конечно, не ошибся. У Максима даже люди умели находить меня взглядом так, будто я снова стала частью его имущества.

— Я понимаю, что он хочет удобную жену на людях, — сказала я.

— Нет. Он хочет тебя обратно.

Я усмехнулась.

— Марта, ты слишком много редактируешь любовных романов.

— А ты слишком долго жила с мужчиной, который вместо «останься» говорит «подпиши здесь».

Водитель подошёл ближе.

— Ника Сергеевна? Максим Андреевич просил отвезти вас домой.

— Скажите Максиму Андреевичу, что я умею передвигаться по городу без его разрешения.

Водитель моргнул. У него было лицо человека, который привык возить молчаливых мужчин в дорогих костюмах и женщин, которые либо плачут тихо, либо говорят с подругами так, будто хотят зарезать кого-нибудь каблуком.

— Ника, — сказала Марта в трубке, — только не делай сейчас ничего гордого и глупого.

— Поздно. Я уже родилась.

— Сядь в машину.

— Нет.

— Сядь в чёртову машину. Ты в красном платье, под дождём, с договором на брак в сумке и лицом женщины, которая сейчас может купить билет в любой город и уехать, забыв, что у неё завтра жизнь. Сядь. В. Машину.

Я посмотрела на дождь. На свои новые злые каблукы. На водителя. На город, который не собирался становиться мягче только потому, что у меня случился личный конец света с приложением на двенадцати страницах.

— Ладно, — сказала я. — Но только потому, что я берегу платье.

— Конечно. Платье, — сухо сказала Марта. — Не нервную систему же.

Я села в машину Максима.

Это тоже было поражением, маленьким, почти незаметным, но оно противно щёлкнуло внутри, как сломанная застёжка. В салоне пахло кожей, дождём и тем самым мужским запахом, который нельзя описывать в приличном обществе, потому что сразу становится понятно: ты всё ещё помнишь слишком много. Я села на заднее сиденье, положила сумку рядом и сказала водителю адрес своей квартиры.

— Максим Андреевич просил отвезти вас в дом, — осто-

рожно произнёс он.

Я медленно повернула голову.

— В мой дом.

— Простите?

— Сначала в мой дом. Где мои вещи. Моя зубная щётка.

Моя жизнь, которую ваш Максим Андреевич пока ещё не успел аккуратно перевезти по своему расписанию.

Водитель кивнул и больше не спорил. Умный человек. Наверное, Максим платил ему не только за вождение, но и за инстинкт самосохранения.

Марта всё ещё была на связи.

— Ты сейчас поедешь к себе? — спросила она.

— Соберу вещи.

— Хочешь, я приеду?

Я хотела сказать «да». Очень хотела. Чтобы она приехала, открыла дверь своим ключом, который я дала ей после ухода от Максима, прошла в кухню, поставила чайник, сказала какую-нибудь грубую, прекрасную правду, и мир снова стал бы хоть немного похож на место, где можно жить. Но если Марта приедет, я расплачусь. Не красиво, не литературно, не одной слезинкой на щеке, а по-настоящему: с мокрым носом, красными глазами и словами «я не хочу туда», которые нельзя произносить, если ты уже подписала договор.

— Не надо, — сказала я. — Я справлюсь.

— Самая опасная фраза всех женщин, которые не справляются.

— Я потом позвоню.

— Ника.

— Что?

— Не разрешай ему быть нежным слишком рано.

Я молчала.

Машина выехала на мокрую улицу. Дома поплыли за окном серыми пятнами, как будто город кто-то плохо смыл с акварельного листа.

— Потому что если он сразу станет нежным, — продолжила Марта, — ты начнёшь думать, что всё было не так страшно. А было. Ты ушла не от скуки.

— Я помню.

— Нет, ты сейчас помнишь злость. Это полезно, но мало. Помни ещё одиночество. Помни, как он неделями говорил с тобой как с частью мебели. Помни, как ты ждала его за ужином, а потом убирала остывшую еду и врала себе, что не обиделась. Помни, как ты стала тише рядом с ним.

Я закрыла глаза.

В груди стало тесно.

— Ты ужасная подруга.

— Лучшая. Именно поэтому напоминаю тебе то, что ты сейчас захочешь забыть.

— Я не забуду.

— Красное платье говорит обратное.

— Красное платье говорит, что я жива.

— Вот и оставайся живой. Даже если он опять начнёт

смотреть на тебя так, будто умеет тебя воскресить.

Я отключилась первой, иначе бы голос дрогнул.

Моя квартира встретила меня запахом остывшего чая, книг и той особенной тишины, которая появляется в доме женщины, живущей не одна, а вместе со своими попытками держаться. Квартира была маленькая, съёмная, с кухней, где двум людям уже тесно, а одному грустно, с книжными стопками у стены, потому что полки я всё собиралась купить, но каждый раз находилось что-то важнее: лекарство, оплата помещения, ремонт крана, новые туфли для дня развода, которые теперь стояли у порога мокрые и злые, как две маленькие собаки.

Я сняла платье не сразу. Сначала долго стояла перед зеркалом в прихожей и смотрела на себя. Красная ткань сидела хорошо. Даже слишком. В ней я выглядела не женщиной, которая только что подписала кабальные условия, а героиней чужой истории, где всё обязательно закончится поцелуем у окна и красивым прощением. В жизни же под платьем натирал край белья, помада чуть стерлась в уголке губ, а в сумке лежал договор, от которого хотелось помыть руки.

Я достала дорожную сумку с верхней полки. Она упала мне на плечо, и я тихо выругалась. В этом была вся моя новая независимость: гордая женщина, красное платье, развод, договор и сумка, которая решила добить хозяйку физически.

Собирать вещи оказалось страшнее, чем подписывать бумагу.

Бумага — это ложь про порядок. В ней всё по пунктам, с датами, условиями и ровными строками. А вещи помнят хаос. Вот домашний свитер с растянутыми рукавами, в котором я три месяца назад сидела на полу после ухода из дома Максима и ела холодные макароны прямо из кастрюли, потому что тарелку достать было почему-то выше моих сил. Вот старая книга, которую я перечитывала в первую неделю одиночества, не понимая ни строчки. Вот мамина шаль, оставленная после последнего приезда. Вот блокнот с планом моей книжной мастерской: «маленький зал для встреч», «редакторские разборы», «книжные вечера», «никаких богатых мужчин с командным голосом». Последний пункт я когда-то приписала пьяной рукой и обвела сердечком. Очень смешно, Ника. Просто умора. Я сложила в сумку одежду, белье, пару книг, бумаги по мастерской, документы, зарядное устройство для телефона и красную помаду. Потом подумала и добавила ещё одну помаду, спокойную, почти телесную. На случай, если однажды мне надоест быть пожаром.

Телефон снова завибрировал. На экране высветилось: «Мама».

Я посмотрела на имя и почувствовала, как всё внутри стало мягче и больнее.

— Привет, мам.

— Никуша, ты как? Подписали?

Я села на край кровати. Вот ведь что удивительно: можно ругаться с бывшим мужем, выдерживать его взгляд, под-

писывать договоры, швыряться словами, как ножами, а потом слышать мамино «Никуша» и сразу стать той девочкой, которая в детстве плакала из-за разбитой кружки и боялась признаться.

— Не совсем, — сказала я.

— Что значит «не совсем»?

Мама кашлянула. Коротко, сухо. Я сжала пальцы на покрывале.

— Максим предложил немного другой вариант.

— Он тебя обидел?

Вопрос был простой. Слишком простой для всей грязной конструкции, которую Максим сегодня построил между нами. Обидел? Да нет, мам, он просто оплатил твоё лечение, предложил мне квартиру и деньги в обмен на три месяца супружеского спектакля, а я, твоя взрослая умная дочь, согласилась, потому что моя гордость, оказывается, плохо переносит счета.

— Нет, — сказала я. — Мы договорились.

— Ника.

Мама умела произносить моё имя так, что оно становилось не словом, а проверкой на честность.

— Правда, мам. Всё будет нормально. Он поможет с лечением.

Тишина на том конце стала тяжёлой.

— Я не хочу, чтобы ты из-за меня...

— Не начинай.

— Доченька.

— Мам, если ты сейчас скажешь, что можно подождать, я приеду и лично выкину всю твою валерьянку в окно.

Она тихо засмеялась, но смех вышел слабым.

— Ты вся в отца. Такая же упрямая.

— Нет. В тебя. Просто ты маскировалась лучше.

— Ты уверена, что знаешь, что делаешь?

Я посмотрела на открытую сумку. На платье в зеркале. На свою квартиру, которая вдруг показалась не убежищем, а комнатой ожидания.

— Нет, — честно сказала я. — Но я знаю, зачем.

После разговора с мамой я ещё минут десять сидела на кровати и ничего не делала. Иногда жизнь требует движения, а ты сидишь и смотришь на стену, потому что если начнёшь двигаться, всё станет настоящим. Договор станет настоящим. Дом Максима станет настоящим. Три месяца станут настоящими. И я снова стану Ника Громова не по ошибке в документах, а по расписанию.

В дверь позвонили.

Я подумала, что это Марта. Она могла сказать «не приеду», а потом приехать, потому что уважала чужие просьбы примерно так же, как я уважала здравый смысл. Я открыла дверь и увидела не Марту.

На пороге стоял Максим.

Без пальто. В тёмном костюме. С влажными волосами. С выражением лица мужчины, который решил, что если жен-

щина не хочет садиться в его машину, он просто сам станет неприятной неожиданностью у неё на пороге.

— Ты что здесь делаешь? — спросила я.

— Приехал помочь.

Я посмотрела за его спину. В коридоре никого. Ни водителя, ни людей с коробками, ни тяжёлой артиллерии в лице его помощницы. Только Максим, мой бывший муж по намерению и действующий муж по документам, стоящий у двери моей маленькой съёмной квартиры так, будто его дорогой костюм сейчас задохнётся от скромности стен.

— Ты? Помочь? — Я прислонилась плечом к косяку. — Извини, я не сразу узнала этот жанр.

Он посмотрел мимо меня, в комнату. На сумку. На книжные стопки. На свитер, брошенный на стул. На чайную кружку у кровати. Я почти физически почувствовала этот взгляд. В нём не было презрения, и от этого стало почему-то хуже. Если бы он скривился, я бы легко ударила. Словом, дверью, чем-нибудь тяжёлым. Но он смотрел тихо. Слишком тихо.

— Ты так жила? — спросил он.

Я выпрямилась.

— Осторожнее, Максим. Ещё немного, и ты начнёшь звучать как человек с чувствами.

— Я не это имел в виду.

— Нет, именно это. «Ты так жила?» Как будто я поселилась в коробке из-под холодильника и ела голубей у подъезда. Нормальная квартира. Маленькая, да. С краном, который

поёт по ночам, и соседкой сверху, которая двигает мебель так, будто прячет трупы. Зато здесь никто не говорил мне, что я слишком остро реагирую.

Он принял удар молча.

Я вдруг поняла, что в прежней жизни Максим обязательно ответил бы. Сухо. Умно. Так, чтобы поставить меня на место одной фразой и потом спокойно пройти внутрь. Сейчас он стоял у двери и молчал, будто учился не входить в чужую жизнь без разрешения. Новое умение. Для него почти подвиг.

— Можно? — спросил он.

Я хотела сказать «нет». Очень хотела. Но он уже видел сумку, красное платье, мою злость и мою усталость, так что делать вид, будто я тут в полном порядке, было поздно.

— Только не трогай мои вещи.

— Ладно.

Он вошёл.

Моя квартира сразу стала меньше. Воздух сжался, мебель будто виновато прижалась к стенам, чайная кружка на тумбе внезапно показалась неприлично дешёвой. Максим не делал ничего особенного, просто стоял посреди комнаты, но его присутствие было как дорогой шкаф в маленькой кухне: вроде красивый, но жить невозможно.

— Я сама соберу, — сказала я.

— Я понял.

— Тогда зачем ты приехал?

Он посмотрел на меня.

— Не хотел, чтобы ты возвращалась туда одна.

Я рассмеялась, но смех быстро умер. Потому что фраза была неправильная. Слишком простая. Слишком человеческая. Такие фразы надо произносить раньше. До развода. До отдельных квартир. До того вечера, когда жена сидит на кухне с остывшей едой и понимает, что её брак стал местом, где она сама себе мешает.

— Поздно, — сказала я.

— Знаю.

Он сказал это без защиты. Без «но». Без попытки объяснить, что у него были дела, сложный период, важные встречи, тяжёлая ответственность и все те священные мужские причины, которыми обычно накрывают женское одиночество, как пыльную мебель простынёй.

Просто: знаю.

Я отвернулась первой.

— Возьми книги, — сказала я. — Только аккуратно. Если заломашь страницы, я расторгну договор из-за нравственных страданий.

— Учту.

Он подошёл к стопкам у стены. Я ждала, что он возьмёт верхние, не глядя, как берут чужие вещи люди, которые никогда сами ничего не собирали. Но Максим вдруг опустился на корточки и стал складывать книги по размеру. Аккуратно. Почти бережно.

У меня внутри что-то неприятно дрогнуло.

— Ты помнишь, что я не умерла? — спросила я.

— Да.

— Тогда не надо вести себя так, будто разбираешь мои вещи после похорон.

Он замер на секунду, потом положил книгу в сумку.

— Ты всегда так защищаешься?

— Только когда бывший муж покупает мне свободу в рас-срочку.

— Я не покупал свободу.

— Нет, конечно. Ты просто приложил к ней квартиру.

Он поднял глаза.

— Ты могла отказаться.

— Могла. И ты знал, что не откажусь.

Мы смотрели друг на друга через мою маленькую комна-ту, заваленную книгами, одеждой и остатками чужой надеж-ды. В этой комнате вдруг стало слишком много прошлого. Не того красивого, где мы смеялись в машине и ели горячие пирожки на заправке, потому что Максим однажды неожи-данно оказался человеком, способным купить еду руками, а не через помощников. Другого прошлого. Где я просила: «Побудь со мной», а он отвечал: «Сейчас не время». Где я надевала платье, а он говорил: «Ты красивая», не поднимая глаз от бумаг. Где я однажды перестала ждать, и он даже не сразу заметил.

— Я не хочу возвращаться в тот дом, — сказала я тихо.

Это вырвалось само. Без злости, без красивой обёртки, без красной помады в голосе.

Максим встал.

— Почему?

Я посмотрела на него почти с нежностью. Плохой, колючей нежностью, которая появляется, когда человек задаёт вопрос слишком поздно.

— Потому что я там исчезала.

Он ничего не сказал.

— Не сразу, — продолжила я, хотя умная женщина на моём месте уже заткнулась бы. — Сначала я просто стала тише. Потом перестала рассказывать тебе смешные глупости, потому что ты слушал с лицом человека, которому одновременно сообщают о падении рынка и о том, что жена купила новые чашки. Потом перестала ждать ужинов. Потом перестала злиться. А когда женщина перестаёт злиться, Максим, это не мир. Это уже кладбище.

Он стоял напротив и слушал. Наконец-то. Поздно, дорого, по договору, но слушал.

— Я не видел, — сказал он.

— Конечно. Ты же смотрел на более важные вещи.

— Ника...

— Не надо. Правда. Сегодня не тот день, когда я готова выслушивать раскаяние. Тем более если оно оформлено так же плохо, как наш брак.

Я закрыла сумку. Получилось с трудом: молния не хотела

сходиться, как будто вещи внутри тоже сопротивлялись переезду. Максим сделал шаг, но я подняла руку.

— Не надо. Я сама.

Я боролась с молнией почти минуту. Он молча наблюдал. Наверное, для Максима это было отдельное испытание — видеть проблему и не решать её за меня. В конце концов молния поддалась. Я почувствовала нелепую гордость, будто выиграла суд.

— Готово, — сказала я.

— Возьму сумку.

— Нет.

— Она тяжёлая.

— Максим, я три месяца жила без тебя. Думаешь, сумка меня добьёт?

— Нет. Но у меня есть руки.

— Поздравляю.

Он всё-таки взял вторую, меньшую сумку с книгами, и я решила не устраивать войну из-за каждого грамма. В конце концов, если мужчина хочет нести книги женщины, которую пытается удержать договором, пусть хотя бы делает что-то полезное.

Перед выходом я оглянулась.

Квартира выглядела так, будто я ушла не на три месяца, а в другую жизнь. Чайная кружка у кровати, плед на стуле, блокнот с планом мастерской. Я подошла, вырвала из блокнота лист с пунктом «никаких богатых мужчин с командным

голосом» и сунула в сумку.

Максим заметил.

— Что это?

— Оберег.

— От меня?

— От повторения ошибок.

Мы вышли.

В машине молчали. Теперь я сидела рядом с ним сзади, потому что сумки заняли половину места, и это было ужасно неудобно. Между нами оставалось несколько сантиметров кожи, шерсти, тепла, старого брака и нового договора. Максим пах дождём и дорогим мылом. Я пахла помадой, мокрыми волосами и раздражением. Иногда машина поворачивала, и наши плечи почти соприкасались. Я всякий раз чуть отодвигалась. Он замечал. Ничего не говорил. От этого хотелось укунить его за молчание.

— Где моя комната? — спросила я, когда молчание стало слишком плотным.

— Наверху.

— Конкретнее.

— Та, что была твоей.

Я повернулась к нему.

— Нет.

— Ника...

— Нет. Ты сегодня это слово уже слышал, но, видимо, оно тебе нравится всё больше. Я не буду спать в нашей бывшей

спальне.

— Я не говорил про спальню.

— А какая комната была моей, Максим? Кладовая с пылесосом?

— Твой кабинет.

Я замолчала.

Вот это было нечестно.

Кабинет. Маленькая светлая комната на втором этаже, где я когда-то пыталась писать свою первую книгу, пока жизнь рядом с Максимом ещё казалась большим началом, а не длинным коридором без дверей. Там стоял узкий стол у окна, кресло с жёлтой подушкой и полка, на которой я держала любимые романы, блокноты, старую керамическую лису и фотографию мамы на море. Потом я перестала туда заходить. Сначала потому, что было некогда. Потом потому, что там слишком хорошо слышалась собственная несостоявшаяся жизнь.

— Ты её не переделал? — спросила я.

— Нет.

— Почему?

Он посмотрел в окно.

— Не смог.

Две короткие фразы. Всего две. А внутри у меня что-то опять дёрнулось, как рыба на крючке. Вот за это я и злилась. За эти запоздалые маленькие признания, которые ничего не исправляли, но мешали ненавидеть чисто.

— Не делай так, — сказала я.

— Как?

— Не изображай человека, который страдал в тишине. Тишина была твоим любимым языком, но я не обязана теперь переводить её в чувства.

Он кивнул.

— Хорошо.

Слишком быстро согласился. Это раздражало ещё больше. Я готовилась к битве, а он вдруг начал убирать оружие. Нечестный приём.

Дом Максима стоял за высоким забором, в посёлке, где даже деревья выглядели ухоженными и слегка надменными. Когда-то я думала, что буду счастлива здесь. Большая кухня, окна в сад, спальня с белыми шторами, широкая лестница, по которой я первое время сбегала босиком, потому что мне нравился звук собственных шагов в доме, где всё казалось нашим. Потом дом стал слишком большим. Слишком тихим. В нём можно было часами не встретить мужа, даже если он находился в соседнем крыле. Богатые дома вообще умеют делать одиночество просторным.

Ворота открылись.

Я почувствовала, как пальцы сами сжались на сумке.

Максим заметил.

— Если хочешь, мы можем поехать в другое место.

— В гостиницу для временных жён?

— В квартиру. Любую.

— Нет. Договор есть договор. Ты хотел спектакль — будет декорация.

Он посмотрел на меня так, будто хотел что-то сказать, но передумал. Правильно. Некоторые слова полезнее оставить мёртвыми.

В прихожей пахло деревом, дорогим воском и чем-то ещё. Домом. Вот просто домом, и это было хуже всего. Не чужое место, не холодный особняк, не картинка из журнала. Здесь у меня когда-то стояли мягкие тапки у двери. Здесь я оставляла на тумбе заколки. Здесь в декабре у окна лежали мандарины, и Максим однажды чистил их для меня молча, потому что я порезала палец бумагой и драматично объявила, что умираю. Он тогда смеялся. По-настоящему. Я потом долго думала, что человек, который так смеётся над мандаринами, не может сделать женщину несчастной. Какая прелесть была дурочка.

— Я провожу тебя, — сказал он.

— Я помню дорогу.

— Я знаю.

Он всё равно пошёл рядом.

Мы поднялись на второй этаж. Я старалась не смотреть на стены, картины, окна, лестничные перила, к которым однажды привязала новогоднюю гирлянду, а Максим сказал, что дом теперь похож на лавку чудес, и почему-то целовал меня прямо на ступеньках. Память — мерзкая тварь. Она не уважает ни развод, ни договор, ни красное платье. Ей покажешь

лестницу, а она сразу достаёт из кармана поцелуй.

Кабинет был открыт.

Я вошла первой и остановилась.

Комната осталась почти такой же.

Стол у окна. Кресло. Полка. Жёлтая подушка, немного выцветшая, но живая. Даже керамическая лиса стояла на месте, смотрела на меня своим глупым рыжим носом так, будто всё это время знала: хозяйка вернётся, просто будет очень ругаться по дороге.

На столе стояла чашка. Моя. Белая, с тонкой трещиной у ручки.

Я медленно повернулась к Максиму.

— Это что?

— Чашка.

— Не испытывай судьбу.

— Я не знал, куда её убрать.

— Десять шкафов, Максим. В этом доме десять шкафов только для посуды. Я считала, когда сходила с ума от скуки.

— Я не хотел убирать.

Вот так. Просто.

Я вдруг почувствовала усталость. Не злость, не боль, не желание бросить в него эту самую чашку, а именно усталость. От него. От себя. От вещей, которые оказываются вернее людей. От того, что чашка с трещиной пережила наш брак лучше, чем мы.

— Я буду жить здесь, — сказала я.

— Хорошо.

— Спать на диване.

— Я поставлю кровать.

— Не надо.

— Ника, это кабинет, не наказание.

— Для меня разницы почти нет.

Он чуть прикрыл глаза, будто мои слова попали туда, где у него всё-таки было что-то мягкое. Я почти пожалела. Почти.

— Кровать поставят завтра, — сказал он. — Сегодня можешь занять любую гостевую.

— Любую, кроме нашей спальни.

— Да.

Он поставил сумку с книгами у стены.

— Ужин через час.

— Я не просила ужин.

— Ты сегодня ела?

— Это допрос?

— Это вопрос.

— Овсянку.

— Когда?

— Утром.

— Сейчас семь вечера.

— Какая наблюдательность. Тебя этому на совещаниях учат?

Он посмотрел на меня долго. Потом кивнул.

— Ужин через час. Придёшь — хорошо. Не придёшь —

я поставлю поднос у двери.

— Ты серьёзно?

— Да.

— Это не забота. Это осада.

— Называй как хочешь.

Он вышел, оставив меня одну.

Я стояла посреди своего бывшего кабинета, в красном платье, с дорожной сумкой, среди вещей, которые почему-то не забыли меня, и пыталась дышать ровно. Получалось плохо. Я подошла к столу, провела пальцем по поверхности. Пыли не было. Конечно, не было. В доме Максима даже прошлое протирали по расписанию.

На полке между книгами лежала маленькая рамка. Я взяла её и тут же пожалела.

Фотография.

Мы с Максимом на даче у его знакомых, первый год брака. Я в белой рубашке, волосы собраны кое-как, лицо смеётся так открыто, что почти больно смотреть. Максим стоит рядом, обнимает меня за плечи и смотрит не в камеру, а на меня. Смотрит так, будто весь мир наконец сделал что-то правильно.

Я не помнила эту фотографию.

Или помнила, но спрятала глубоко, туда, где женщины хоронят всё, что может помешать им выжить.

— Сволочь, — сказала я тихо.

Не знаю, кому. Ему. Себе. Фотографии. Времени.

Снизу раздались голоса.

Я поставила рамку обратно, слишком резко, и вышла в коридор.

Женский голос.

Спокойный, чистый, уверенный. Такой голос не повышают. Им подписывают чужое поражение.

— Максим, документы по завтрашнему вечеру у меня с собой. И ещё нужно решить, что делать с Никой Сергеевной. Её появление надо правильно подать.

Ирина.

Я медленно подошла к лестнице.

Она стояла внизу в светлом пальто, с гладко убранными волосами и кожаной папкой в руках. Идеальная. Холодная. Уместная. Женщина, которая в этом доме выглядела не гостем, а частью обстановки: дорогой, спокойной, удобной. Рядом с ней я вдруг остро почувствовала своё красное платье, растрёпанные после дождя волосы и лицо, на котором за день случились развод, договор, переезд и маленькое убийство гордости.

Максим стоял к ней спиной, но, кажется, почувствовал меня раньше, чем я успела заговорить.

Ирина подняла глаза.

Улыбнулась.

— Ника Сергеевна, — сказала она. — Рада, что вы всё-таки вернулись.

Я спустилась на одну ступеньку ниже.

— Не радуйтесь раньше времени. Я здесь не навсегда.

Ирина посмотрела на Максима, потом снова на меня.

Улыбка стала тоньше.

— Конечно. Временные решения редко бывают удобными.

Вот с этой фразы, пожалуй, дом снова стал похож на поле боя.

Я улыбнулась ей в ответ. Красная помада, красное платье, три месяца договора и бывший муж между нами.

— Тогда вам не повезло, Ирина, — сказала я. — Я редко бываю удобной.

Глава 3. Временная жена

Ирина смотрела на меня снизу вверх с таким выражением лица, будто я была не женой Максима Громова, а пятном от красного вина на его белоснежной скатерти. Неприятно, заметно, но при желании можно вывести правильными средствами.

Я стояла на лестнице в красном платье и вдруг очень остро поняла, что в этом доме у каждой вещи было своё место. У ключей — серебряная чаша у входа. У пальто Максима — отдельная тёмная гардеробная, где даже вешалки выглядели богаче моих последних трёх месяцев. У Ирины, судя по её спокойной осанке, тоже было своё место: рядом, чуть сбоку, достаточно близко, чтобы знать всё, и достаточно далеко, чтобы при необходимости сказать: «Мы просто работаем». А вот моё место в этом доме за три месяца отсутствия стало вопросом. Жена? Бывшая? Временная? Женщина по договору? Очень хотелось спросить у Максима, как он указал меня в своих бумагах, но я боялась, что он ответит.

— Неудобные женщины обычно требуют слишком много внимания, — сказала Ирина.

Голос у неё был мягкий, почти ласковый. Такие голоса бывают у врачей перед неприятной процедурой и у женщин, которые улыбаются тебе в лицо, пока мысленно выбирают, куда воткнуть нож.

— Тогда вам придётся немного постараться, — ответила я. — Я люблю качественное внимание.

Максим повернулся ко мне. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на предупреждение. Прекрасно. Мы снова дома, не прошло и пяти минут, а он уже пытается управлять моим выражением лица.

— Ирина приехала по делу, — сказал он.

— Я заметила. У неё папка. У людей с папками обычно всё очень серьёзно. Иногда даже серьёзнее, чем у людей с живыми чувствами.

Ирина слегка приподняла бровь. Маленькое движение, почти незаметное, но я его поймала. Мне вдруг стало легче. Значит, она не железная. Просто хорошо отполированная.

— Мне нужно обсудить с Максимом Андреевичем завтрашний вечер, — сказала она. — Ваше присутствие тоже касается этого вопроса.

— Моё присутствие вообще сегодня всех касается, — сказала я и спустилась ещё на одну ступеньку. — Я прямо чувствую себя общественно значимой проблемой.

— Ника, — тихо произнёс Максим.

— Что? Я же разговариваю. Вежливо. Почти.

Он смотрел на меня так, будто перед ним стояла не женщина, с которой он когда-то спал, ругался, завтракал, молчал и разваливал брак, а горящая штора, которую нельзя тушить водой, потому что станет хуже. Ирина тем временем держала папку двумя руками, очень ровно, очень спокойно. Я готова

была поставить свои новые каблуки на то, что ногти у неё тоже были идеальные. У таких женщин даже злость, наверное, ходит на занятия по осанке.

— Завтра закрытый вечер у Елисеевых, — сказал Максим. — Мы должны появиться вместе.

Я усмехнулась.

— Как быстро. Я думала, у временных жён хотя бы первый день — для привыкания к клетке.

— Это не клетка.

— Конечно. Клетки не бывают с подогревом полов.

Ирина посмотрела на меня чуть внимательнее. Кажется, ей не нравилось, что я говорю при ней так, будто имею право. Ей вообще, кажется, не нравилось, что я в этом доме существую объёмно: в платье, с сумками, с книгами, с голосом, с прошлым, которое она не могла переложить в папку и называть лишним.

— Формат вечера камерный, — сказала она.

— Закрытый, — поправил Максим.

— Камерный — это когда играют на скрипке и все делают вид, что понимают Баха, — сказала я. — А когда собираются богатые люди, чтобы решить, кто с кем дружит против кого, это называется иначе.

— Как? — спросила Ирина.

Я улыбнулась.

— Семейный ужин у людоедов.

На этот раз Максим всё-таки не выдержал. Уголок его рта

дрогнул. Всего на секунду, но Ирина увидела. Я тоже. И почему-то это маленькое движение было неприятнее любого поцелуя. Потому что смех — это измена войне. Мы ведь воевали. Я точно воевала. И он не имел права внезапно вспоминать, что когда-то ему нравилось, как я говорю гадости.

— Ника Сергеевна, — Ирина произнесла моё имя с такой холодной аккуратностью, будто заворачивала его в плёнку, — завтра важно не привлекать лишнего внимания.

— Тогда надо было не возвращать в дом жену, которая пришла на развод в красном платье.

Максим сделал шаг в мою сторону.

— Достаточно.

Вот это слово он всегда произносил одинаково. В браке оно работало как выключатель. Достаточно спорить. Достаточно драматизировать. Достаточно возвращаться к этому разговору. Достаточно чувствовать громче, чем удобно мужчине, у которого завтра важная встреча.

Раньше я после этого замолкала.

Не сразу. Сначала ещё пыталась бороться, объяснять, доказывать, что я не истеричка, не капризная девочка, не женщина, которая просто «накрутила себя». Потом уставала. Потом действительно замолкала. И вот тишина, которую он получал, постепенно стала не миром, а пустыней. В пустыне, как известно, тоже тихо.

Я посмотрела на него сверху вниз, потому что всё ещё стояла на ступени, и впервые за долгое время мне понравилась

высота.

— Это слово не входит в договор, — сказала я.

Он понял сразу.

Ирина — нет.

— Какое слово? — спросила она.

— «Достаточно». Если Максим Андреевич хотел женщины, которая будет красиво молчать рядом с ним, ему нужно было нанимать картину. Я, к сожалению, разговариваю.

В холле стало тихо.

Дом вокруг нас, казалось, даже дышать перестал. Или это я перестала. Максим смотрел на меня так, будто между нами снова возник тот старый провод, по которому раньше бегали и злость, и смех, и желание, и боль. Провод давно должен был перегореть. Видимо, не перегорел. Просто валялся где-то под плинтусом и ждал, когда по нему снова пустят ток.

— Ирина, оставь документы в столовой, — сказал он наконец. — Я посмотрю позже.

Ирина не сразу ответила. Это было красиво. Не истерика, не обида, не хлопанье ресницами. Просто крошечная пауза женщины, которая привыкла, что её не отодвигают. Особенно из-за бывших жён в красных платьях.

— Конечно, — сказала она. — Но по завтрашнему вечеру нужно решить сегодня.

— Решим.

— И платье Ники Сергеевны...

— Моё платье не нуждается в вашем решении, — сказала

я.

Ирина медленно повернулась ко мне.

— Я говорила о завтрашнем.

— А я вообще о жизни.

Она улыбнулась. В этой улыбке не было ни тепла, ни раздражения. Только тонкая, дорогая усталость.

— Я подготовлю варианты.

— Подготовьте себе успокоительный чай, — сказала я. — Завтра вечер будет длинный.

Максим закрыл глаза на секунду. Почти незаметно. Будто считал до трёх. Я внезапно вспомнила, как в первый год брака он точно так же закрывал глаза, когда я в магазине спорила с продавцом из-за разбитой банки оливок. Тогда он потом смеялся всю дорогу домой и говорил: «Ты опасная женщина, Орлова». А я отвечала: «Поздно понял, Громов». Мы тогда ещё думали, что опасность — это страсть, а не медленное превращение друг друга в чужих людей.

Ирина прошла в столовую. Каблуки у неё были почти бесшумные. Конечно. Даже ходила она так, будто не хотела оставлять следов. Очень удобно для женщины, которая слишком часто бывает в чужом доме.

— Ты специально? — спросил Максим, когда она скрылась за дверью.

— Что именно? Дышу? Разговариваю? Не растворилась при виде твоей помощницы?

— Ты провоцируешь.

— Я живу. Это похоже, но не одно и то же.

Он поднялся на ступеньку. Теперь мы стояли почти на одном уровне. Слишком близко. Я почувствовала запах дождя на его рубашке и почему-то ещё — кофе. Максим всегда пил крепкий кофе без сахара. Раньше я целовала его после этого и говорила, что он горчит. Он отвечал: «Привыкнешь». Какой смешной был предвестник всего нашего брака.

— Ирина занимается моими делами, — сказал он.

— Вижу. И домом, и вечерами, и платьями, и, видимо, тем, как правильно подать твою временно возвращённую жену.

— Она не твой враг.

— Это она тебе сказала?

— Ника.

— Максим, не надо. Я женщина, а не декоративная рыба. Я вижу, как она смотрит.

— И как?

Я усмехнулась.

— Как человек, который три месяца назад решил, что место наконец освободилось, а теперь у двери опять стоят чужие туфли.

Его лицо стало жёстче.

— Между мной и Ириной ничего нет.

Как быстро. Даже слишком быстро.

Я смотрела на него и ненавидела себя за то, что эта фраза ударила не туда, куда должна была. Она должна была рас-

смешить. Должна была вызвать у меня презрительное «мне всё равно». Но вместо этого где-то под рёбрами вспыхнула старая боль, та самая, с которой я уходила из этого дома три месяца назад. В гостинице. Вечер. Его рубашка. Ирина рядом с ним в холле. Её рука на его рукаве — обычный жест, почти служебный, если не знать, как долго я тогда ждала его дома и как плохо он врал потом голосом.

— Мне безразлично, что между вами, — сказала я.

— Лжёшь.

Я чуть не рассмеялась от злости.

— Ты сегодня вообще решил попробовать все новые жанры? Забота, честность, наблюдательность?

— Я знаю, когда ты лжёшь.

— Жаль, что ты не знал, когда я умираю рядом с тобой.

Он молча принял и это.

Вот что меня бесило больше всего: он перестал отбиваться. Раньше Максим умел спорить как человек, который строит стену. Теперь он стоял и позволял мне бросать в него всё, что накопилось, будто сам открыл дверь в кладовую, где я три года хранила битую посуду. А я не знала, что с этим делать. Я готовилась воевать с холодным мужем, а он вдруг пришёл без брони, и ударять стало неудобно. Не невозможно. Просто неудобно.

— Я не буду обсуждать с тобой Ирину, — сказала я.

— Ладно.

— И завтра я надену то, что выберу сама.

— Хорошо.

— И если кто-то на этом вечере хоть раз назовёт меня твоим украшением, я скажу, что украшения обычно не подписывают договоры.

— Лучше не надо.

— Тогда следи за своими людоедами.

Он снова чуть улыбнулся.

— Ты не изменилась.

Это было опасное место. Прямо вот пропасть под ногами. Потому что можно было ответить резко, можно было сказать: «А ты изменился, просто поздно», можно было сделать вид, что не услышала. Но правда оказалась противнее.

— Изменилась, — сказала я. — Просто тебе привычнее видеть во мне ту, которая ещё хотела, чтобы ты смотрел.

Я пошла наверх, в свой бывший кабинет, потому что если остаться ещё на минуту, я могла сказать что-то лишнее. Например, что в красном платье мне уже холодно. Или что дом пахнет прошлым. Или что Ирина смотрит на него так, как я смотрела когда-то: с опасной уверенностью, что если быть рядом достаточно долго, мужчина однажды повернётся к тебе по-настоящему.

В кабинете я закрыла дверь и наконец сняла туфли.

Ступни ныли так, будто тоже разводились, подписали договор и переехали обратно в дом, который их не заслуживал. Я присела на край дивана, потянула молнию на платье сбоку и замерла. В зеркале напротив отражалась женщина с рас-

трёпанными волосами, красными губами и глазами человека, который слишком долго держался на одной злости. Я выглядела хорошо. Даже чересчур. Но в этом «хорошо» было что-то жалкое. Как если бы пожарный приехал на пепелище в вечернем платье.

На столе лежала моя старая керамическая лиса. Я взяла её в руки. У лисы был сколот нос. Я разбила его в первый год брака, когда пыталась переставить полку и отказалась звать Максима, потому что «я самостоятельная женщина, а не приложение к мужу». Полка тогда упала, книги рассыпались, лиса потеряла нос, а Максим пришёл на шум, посмотрел на разгром и сказал: «Вижу, независимость требует ремонта». Я обиделась. Он через час вернулся с клеем, пирожными и таким виноватым лицом, что я простила его раньше, чем он успел извиниться.

Проклятая лиса.

Проклятая память.

В дверь постучали.

— Если это ты, Ирина, — сказала я, — предупреждаю: у меня в руках тяжёлая керамическая хищница.

Дверь открылась.

Максим стоял на пороге с подносом.

Я медленно посмотрела на него. На поднос. На тарелку с чем-то горячим, салат, хлеб, стакан воды и маленькую солонку. Солонка была особенно смешной. Словно он боялся, что без неё мой ужин станет нарушением прав человека.

— Ты издеваешься? — спросила я.

— Ты не пришла вниз.

— Прошло десять минут.

— Двенадцать.

— Боже, у нашего брака есть сторожевой пёс с часами.

— Ты сегодня почти не ела.

— А ты сегодня почти не развёлся. У всех тяжёлый день.

Он вошёл, хотя я не приглашала. Поставил поднос на стол.

Вёл себя при этом не как хозяин, а как человек, который очень старается не задеть ничего лишнего. Это было новое.

И раздражающее. И почему-то трогательное, что ещё хуже.

— Я просила не решать за меня, — сказала я.

— Я не решал. Я принёс еду. Есть или не есть — твоё дело.

— Какая щедрая свобода выбора. Курицу или рыбу?

— Рыба.

— Я не ем рыбу, когда злюсь.

Он посмотрел на тарелку.

— Ты ешь рыбу, когда злишься.

Я замолчала.

Потому что это было правдой.

В первые месяцы брака я постоянно ела рыбу, когда злилась. Не знаю почему. Может, потому что её нужно резать аккуратно, и это создавало иллюзию, что я не хочу зарезать мужа. Максим однажды заметил это и с тех пор, когда мы ссорились, говорил: «Заказать тебе рыбу или сразу признать свою вину?» Тогда это казалось смешным. Потом мы пере-

стали шутить. Потом перестали ужинать вместе. Потом я перестала злиться вслух.

— Не надо помнить такие вещи, — сказала я.

— Почему?

— Потому что они мешают считать тебя чудовищем.

Он опёрся рукой о спинку кресла. Усталость на его лице стала заметнее. Не театральная усталость властного мужчины, который много работает и хочет, чтобы все это оценили. Другая. Человеческая. Почти некрасивая.

— Я не чудовище, Ника.

— Знаю. В этом и проблема.

Он посмотрел на меня долго, так долго, что я первая отвернулась. На столе лежала фотография, которую я не успела спрятать. Та самая, дачная. Я заметила его взгляд и быстро взяла рамку.

— Не трогай.

— Я и не трогаю.

— И не смотри так, будто это музей нашей погибшей любви.

— А как смотреть?

— Как на улику.

— Против кого?

— Против нас обоих.

Я поставила фотографию лицом вниз.

Максим ничего не сказал. Просто чуть кивнул, будто принял ещё одно условие. Сегодня он слишком много соглашал-

ся. У Максима Громова согласие обычно было редким зверем, занесённым в Красную книгу нашего брака. А теперь он выпускал его из клетки каждые пять минут, и я не понимала, где подвох.

— Завтра вечером, — сказал он, — мы должны выглядеть убедительно.

— Началось.

— Я не прошу тебя играть любовь.

— Нет, ты просишь играть жену. Разница, конечно, огромная.

— Для этих людей — да.

— Для меня — нет.

Он молча принял.

— Кто будет? — спросила я, потому что надо было говорить о деле, иначе мы снова начнём ходить вокруг старых костей с лопатами.

— Елисеевы. Несколько семей. Люди, с которыми я давно работаю. Пара журналистов из деловой прессы.

— Прекрасно. То есть завтра я буду улыбаться не только людоедам, но и их летописцам.

— Ника.

— Что? Я должна понимать состав зверинца.

— Там будут спрашивать о нас.

— О нашем внезапном семейном счастье?

— Да.

— И что отвечать?

Он помолчал.

— Что мы пережили сложный период.

Я засмеялась.

— Какой красивый мешок для мусора. В него можно сложить всё: одиночество, твою холодность, мои истерики, Ирину в гостинице, три месяца в съёмной квартире и договор в твоей папке.

— Ирину в гостинице мы ещё обсудим.

— Нет.

— Обсудим.

Он сказал это спокойно, но твёрдо. Вот он. Старый Максим. Не исчез. Просто стоял за дверью, ждал своего выхода.

Я поднялась.

— Ты не имеешь права назначать мне разговоры.

— Имею, если из-за этого ты ушла.

— Я ушла не из-за Ирины.

Он замер.

Я сама не поняла, зачем сказала это. Наверное, устала врать. Измена была удобной версией. Красивой, понятной, с ясным злодеем. Женщина видит мужа с другой, женщина уходит, зрители аплодируют её достоинству. Но правда была хуже. Я ушла не потому, что увидела Ирину. Я ушла потому, что в тот вечер, глядя на них в холле гостиницы, вдруг почувствовала не ревность, а облегчение. Вот оно. Наконец появился повод. Наконец можно не объяснять, что умираешь в браке, где никто формально не виноват.

— Тогда из-за чего? — спросил Максим.

Я посмотрела на него.

За дверью тихо прошли шаги. Наверное, Ирина. Или дом.

Или прошлое надело чужие каблуки.

— Не сегодня, — сказала я.

— Ника.

— Не сегодня. У нас договор на три месяца. Успеешь купить все ответы.

Он вздрогнул. Едва заметно, но я увидела.

Хорошо. Значит, боль умеет ходить в обе стороны.

— Я не хотел тебя покупать, — сказал он.

— Но купил.

Он молча взял поднос за край, но не ушёл. Смотрел на меня, на красное платье, на босые ноги, на волосы, которые окончательно выбились из укладки. И почему-то в этот момент я почувствовала себя не красивой и не сильной, а очень настоящей. Это было почти невыносимо.

— Поешь, — сказал он.

— Не командуй.

— Пожалуйста.

Вот это слово легло между нами как чужая вещь.

Максим редко говорил «пожалуйста». Не потому, что был невоспитанным. Просто у людей вроде него просьбы обычно исполнялись до того, как становились просьбами. А тут он сказал. Неловко, почти сухо, но сказал.

Я ненавидела, что мне захотелось сесть.

— Уходи, — попросила я.

Он кивнул.

У двери остановился.

— Завтра к семи будь готова.

— Максим.

Он обернулся.

— Не говори со мной так, будто я часть твоего расписания.

Пауза.

— Завтра в семь я буду ждать тебя внизу, — сказал он уже иначе. — Если ты решишь поехать.

— А если не решу?

— Тогда поеду один.

Я не ожидала этого ответа. И он это понял.

— Но тебе придётся объяснить гостям, где жена, — сказала я.

— Объясню.

— И что скажешь?

Он посмотрел на меня так, что в груди опять стало тесно.

— Правду. Что она не обязана стоять рядом со мной только потому, что я слишком поздно это понял.

Он вышел.

Я осталась одна с рыбой, перевёрнутой фотографией и керамической лисой без носа.

Есть не хотелось. Совсем. Но через пять минут я всё-таки села за стол и взяла вилку. Рыба оказалась тёплой, нежной и

раздражающе вкусной. Я ела маленькими кусками и злилась на каждую прожёванную вилку. На Максима. На Ирину. На себя. На то, что он помнил. На то, что я помнила тоже.

Через полчаса я достала из сумки листок, который вырвала из своего блокнота, и написала ниже прежнего пункта новые правила.

Первое: не верить Максиму.

Второе: не ревновать Максима.

Третье: не позволять ему заботиться так, будто это искупление.

Четвёртое: не спать с мужчиной, с которым разводишься.

Я посмотрела на четвёртое правило и даже подчеркнула его дважды. Для надёжности. Потому что тело, в отличие от гордости, читать умело плохо.

Потом переделалась в домашние брюки и мягкую кофту, смыла красную помаду, умылась холодной водой и легла на узкий диван в бывшем кабинете. Дом был тихий. Слишком тихий. Где-то внизу закрылась дверь. Потом раздался приглушённый мужской голос. Максим говорил по телефону или с Ириной, я не разобрала. И не хотела разбирать. Вообще не хотела.

Но когда его голос стал тише, я всё равно прислушалась.

Вот так и начинается поражение. Не с поцелуя. Не с постели. Не с красивых слов. А с того, что ты лежишь в тёмной комнате и слушаешь, ушёл ли человек, которого тебе давно пора перестать слышать.

Позже, уже почти засыпая, я услышала шаги у двери. Они остановились.

Я не шевельнулась.

Максим не постучал. Не вошёл. Ничего не сказал. Просто постоял несколько секунд за дверью и ушёл.

Наутро у двери лежала записка.

Не приказ. Не расписание. Не список требований.

Всего одна строчка его твёрдым, слишком знакомым почерком:

«Платье выбери сама. Я буду ждать в семь».

Глава 4. Поцелуй не входил в договор

Утром я проснулась с ощущением, что меня ночью пере-ехал не грузовик, а вся семейная жизнь Максима Громова, причём задним ходом и с аккуратной подачей документов. Узкий диван в бывшем кабинете оказался удобным примерно как совесть после плохого поступка. Шея болела, спина ныла, а в голове стояла одна-единственная мысль: я снова в этом доме. Не в гостях. Не случайно. Не на пять минут за забытыми вещами. Я проснулась в доме мужа, с которым раз-водилась, по договору, который сама подписала, и это было настолько глупо, что даже плакать не хотелось. Хотелось встать, найти Максима и спросить, не входит ли в условия ещё и бесплатная лоботомия, потому что без неё следующие три месяца могли оказаться слишком насыщенными.

Записка всё ещё лежала у двери. «Платье выбери сама. Я буду ждать в семь». Я подняла её с пола, перечитала и фыркнула. Не приказ. Не распоряжение. Не «Ирина под-готовит подходящий вариант». Почти человеческая фраза. Очень опасная разновидность мужской хитрости. Если муж-чина, который три года говорил с тобой как с приложением к своему расписанию, вдруг начинает оставлять записки с правом выбора, не надо умиляться. Надо проверить, где ловушка.

Ловушка обнаружилась через двадцать минут.

Я ещё не успела нормально умыться, только стояла перед зеркалом с мокрым лицом и волосами, торчащими в разные стороны, как мысли после развода, когда в дверь постучали. Стучали не так, как Максим. Максим стучал коротко, один раз, будто даже дверь должна понимать с первого. Этот стук был вежливым. Слишком вежливым. Примерно так вежливо стучатся женщины, которые уже решили, что всё равно войдут.

— Если у вас в руках платье, Ирина, — сказала я, — лучше сразу бросьте его и отступайте медленно.

Дверь открылась.

Ирина стояла на пороге в светлом костюме, с гладко убранными волосами и тонким чехлом на вешалке. Разумеется. У неё даже утро выглядело так, будто его заранее утвердили у ответственного человека. Я же была в старой серой майке и домашних брюках, которые пережили переезд, развод и один неудачный эксперимент с красным вином. Война, прямо скажем, начиналась не с равных позиций.

— Доброе утро, Ника Сергеевна.

— Оно пока просто утро. Добрым ему ещё работать и работать.

Ирина чуть улыбнулась. В руках у неё действительно был чехол. Чёрный. Плотный. Похожий на мешок для захоронения моей самостоятельности.

— Я принесла варианты на вечер.

— Как предусмотрительно. А я как раз думала, что мне

надеть: платье или вашу уверенность в том, что я просила помощи.

— Максим Андреевич сказал, что платье вы выбираете сами.

— Видите, как быстро он учится.

— Но вечер важный. Есть правила.

— У меня тоже.

— Какие?

— Не принимать одежду от женщины, которая мечтает, чтобы я выглядела уместно и исчезла одновременно.

Ирина не изменилась в лице. Вот что было в ней раздражающе прекрасным: она не давала дешёвых реакций. Никакой вспышки, никакой дрожи губ, никакого «как вы смеете». Просто смотрела на меня спокойно, будто я была сложной задачей, которую она всё равно решит, если хватит времени.

— Вы ошибаетесь во мне, — сказала она.

— Надеюсь. Ошибаться в людях иногда веселее, чем быть правой.

— Я не желаю вам зла.

— Тогда начните с малого. Не приносите мне платья.

Она посмотрела на чехол, потом снова на меня.

— Там не платье.

Я замолчала.

Плохо. Очень плохо. Когда человек, с которым ты уже мысленно подралась, вдруг оказывается на шаг впереди, это неприятно.

— А что?

— Несколько сведений о гостях. И список тем, которых лучше избегать.

Я медленно взяла чехол. Внутри действительно лежала тонкая папка и несколько листов. Никакого платья. Никакого навязанного цвета. Никакого «вы должны выглядеть скромнее». И от этого я почувствовала себя немного дурой, что было особенно обидно в собственной комнате.

— Вы всегда носите бумаги в чехлах для одежды? — спросила я, чтобы не проигрывать окончательно.

— Нет. Просто знала, что так вы точно откроете.

Я посмотрела на неё внимательнее.

Ирина улыбнулась. Не тепло, нет. Но впервые в этой улыбке появилось что-то живое. Маленький укол. Почти чувство юмора.

— Вы опасная женщина, Ирина.

— Я полезная.

— Для Максима?

— Для дела.

— Это разные вещи?

— Иногда да.

Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Я вдруг подумала, что с Ириной всё будет сложнее, чем с обычной соперницей из дешёвой истории. Обычная соперница должна быть глупее, грубее, ярче, с духами, от которых хочется открыть окно, и фразами вроде «он всё равно мой». Ирина бы-

ла другой. Она не бросалась на мужчину, не цеплялась за рукав, не выставляла чувства. Она была рядом как хорошо заточенный нож в ящике: не мешает, пока не понадобится.

— Вы давно с ним работаете? — спросила я.

— Почти четыре года.

То есть она пришла в его жизнь раньше, чем наш брак начал совсем разваливаться. Прекрасно. Удобная хронология для ночных мыслей и женской паранойи.

— И за четыре года научились носить ему плохие новости так, чтобы они звучали как погода?

— А вы за сколько лет научились бить словами туда, где больнее?

Я невольно усмехнулась.

— Быстро. Брак ускоряет обучение.

На этот раз пауза была настоящей. Ирина отвела взгляд к окну, словно на секунду вышла из своей идеальной роли.

— Я зайду за вами в шесть сорок, — сказала она. — Машина будет ждать у входа.

— За мной зайдёт Максим.

— Да. Конечно.

Она сказала это ровно, но я уловила маленькую трещину. Совсем крошечную. Не ревность даже. Привычка. В её мире, видимо, именно она напоминала Максиму, где быть, с кем быть, что говорить и во сколько улыбаться. А тут вдруг я. Женщина из прошлого, которая вернулась не вовремя, слишком громко, в красном платье и с документом, где её

временное присутствие было оплачено лучше чужого терпения.

Когда Ирина ушла, я достала из шкафа свои платья.

Их было немного. Часть осталась здесь с прошлого раза, часть я привезла вчера, часть вообще не стоило надевать никуда, кроме похода за хлебом в состоянии душевной капитуляции. Я перебирала ткань и думала, что одежда — странная вещь. Она умеет врать почти так же хорошо, как люди. Чёрное говорит: «Я собрана». Белое говорит: «Я невинна», хотя большинство белых платьев на взрослых женщинах выглядят как попытка обмануть Бога. Синее говорит: «Я спокойна». Бежевое: «Я не создаю проблем». Красное: «Смотрите внимательно, я ещё горю».

Но вчера я уже была в красном. Ещё одно красное платье сегодня — слишком прямо. Слишком очевидно. Как если бы я повесила на себя табличку «бывшая жена вернулась мстить». Хотя, если честно, табличка была бы удобной.

В итоге я выбрала платье цвета густого вина.

Не красное и не чёрное. Глубокое, тёмное, почти опасное. Закрытое спереди, с открытой спиной ровно настолько, чтобы приличные женщины на вечере начали поправлять жемчуг, а неприличные мужчины — вспоминать, что у них есть глаза. Я купила его два года назад, когда Максим забыл про нашу годовщину, а я вместо скандала пошла и потратила неприличную сумму. Он тогда вечером сказал:

«Красиво». Даже не спросил, куда я в нём собиралась. Ни-

куда. Я собиралась быть замеченной. Просто ошиблась адресом.

К семи я была готова.

Волосы собрала низко, но оставила несколько прядей у лица. Помаду выбрала тёмнее вчерашней. Каблуки — старые, проверенные, в которых можно было и улыбаться, и наступить кому-нибудь на ногу без риска погибнуть самой. В зеркало на меня смотрела женщина, которая слишком хорошо знала, как делается вид. Вид, что не больно. Вид, что не страшно. Вид, что ты не прислушиваешься к шагам мужчины за дверью.

Когда я спустилась, Максим уже ждал внизу.

Он стоял у лестницы в тёмном костюме, и на этот раз на нём был галстук. Серый, безупречный, скучный, как вся мужская попытка выглядеть надёжно. Он поднял голову, и я увидела момент. Тот самый. Короткий, почти незаметный сбой. Его взгляд прошёл по мне и остановился там, где должна была включиться привычная выдержка, но не включилась сразу.

Я почувствовала это кожей.

И, конечно, возненавидела себя за удовольствие.

— Что? — спросила я. — Платье не прошло проверку службы безопасности?

— Ты красивая.

Сказал просто. Без усмешки. Без привычного мужского «я сейчас сообщу очевидный факт, и ты должна растаять».

Именно поэтому стало хуже.

— Неудачное начало, — сказала я. — Сегодня я настроена подозрительно.

— Я заметил.

— Хорошо. Значит, зрение возвращается.

Он протянул руку. Я посмотрела на неё.

— Мы ещё дома.

— Привычка.

— Отвыкай.

Он опустил руку. Без обиды. Без раздражения. И вот опять — эта новая осторожность, от которой хотелось поставить между нами стул, стену и юриста. В машине мы ехали молча. Но молчание сегодня было не таким, как раньше. Раньше оно было его. Большое, тяжёлое, хозяйское. Оно заполняло дом, спальню, ужины, длинные поездки, где я сначала пыталась говорить, потом смотрела в окно и считала фонари, чтобы не начать плакать. Сегодня молчание было нашим. Злым, настороженным, натянутым, как тонкая проволока. Стоило одному из нас сделать неверное движение, и можно было порезаться.

— Там будет Николай Ветров, — сказал Максим, когда машина свернула на широкую улицу с мокрыми липами.

Ветров претендовал на тот же речной вокзал и уже несколько месяцев собирал голоса против Максима. Ему нужен был не только проект. Ему нужен был Максим, выглядящий человеком, который теряет контроль над всем сразу.

— Это должно мне что-то сказать?

— Он любит провоцировать.

— О, коллега по цеху.

— Ника.

— Я поняла. Богатый мужчина с плохими манерами и уверенностью, что его грубость — это характер.

— Примерно.

— Я выросла в обычной поликлинике и стояла в очередях к заведующим. Меня таким не напугать.

— Он может задеть тебя.

— Тогда у него будет насыщенный вечер.

Максим посмотрел на меня сбоку.

— Не устраивай сцену.

Я медленно повернула голову.

— Вот сейчас ты снова сказал это так, будто мне десять лет и я собираюсь бросить компот в гостя.

— Я прошу.

— Нет. Ты предупреждаешь. А я предупреждаю в ответ: если кто-то будет хамить мне из-за нашего развода, договора или твоей замечательной привычки окружать себя людьми, которые считают женщин частью обстановки, я отвечу.

— Ответь. Просто не убивай.

Я моргнула.

Он сказал это совершенно серьёзно, но в уголках глаз появилась та самая еле заметная складка. Как раньше. Когда он ещё умел быть живым со мной не по расписанию.

— Максим Громов шутит. Надо записать дату.

— Не вздумай привыкать.

— Не переживай. Я слишком хорошо помню, чем это заканчивается.

Он отвернулся к окну.

Попала.

Иногда я сама себе не нравилась. Не в общем, нет. В общем я была неплохая: мыла чашки сразу, не воровала чужие ложки в гостях, могла посочувствовать женщине, которая наступила мне на ногу, если у неё было уставшее лицо. Но рядом с Максимом во мне просыпалось что-то острое, голодное, некрасивое. Я хотела, чтобы ему тоже болело. Не всегда. Только когда он становился слишком мягким, и я начинала забывать, зачем ушла.

Дом Елисеевых встретил нас светом, охраной и таким количеством дорогих машин, что моя гордость в старых каблуках сразу захотела выйти через чёрный ход. Особняк был большой, с колоннами, мокрыми ступенями и окнами, в которых теплился жёлтый свет. Такие дома снаружи выглядят как обещание, а внутри обычно пахнут деньгами, цветами и свежей ложью.

Максим вышел первым, обошёл машину и открыл мне дверь.

Я посмотрела на его руку.

— На людях, — напомнил он.

Ах да. На людях.

Я вложила пальцы в его ладонь.

Ошибка.

Не юридическая, не моральная, а телесная. Дурацкая, маленькая, почти незаметная. Его рука была тёплой. Большой. Знакомой. Слишком знакомой. Моя ладонь помнила его лучше, чем голова. Голова знала договор, обиды, одиночество, Ирина, мама, деньги, развод. А ладонь сказала: вот он.

Предательница.

— Всё хорошо? — спросил Максим тихо.

— У меня рука попала в прошлое. Сейчас вернётся.

Он не улыбнулся. Просто чуть крепче сжал пальцы, и мы пошли к входу.

Первые пятнадцать минут вечера были терпимыми.

Это меня и насторожило.

Люди улыбались. Женщины касались моего плеча, целовали воздух рядом с моей щекой и говорили: «Ника, как давно вас не было видно». Мужчины жали Максиму руку и смотрели на меня чуть дольше, чем требовалось приличием. Все делали вид, что ничего не знают. Именно так в этих кругах и показывают, что знают всё. Чем теплее улыбка, тем грязнее слух за ней прячется.

Хозяйка вечера, Лидия Елисеева, оказалась тонкой женщиной лет пятидесяти с сухими руками, бриллиантами в ушах и глазами человека, который видел слишком много чужих браков, чтобы верить в чужие примирения.

— Ника, дорогая, вы прекрасны, — сказала она. — Максим, вы умеете прятать сокровища.

Я улыбнулась.

— Иногда сокровища сами уходят из сундуков, когда им надоедает темнота.

Лидия на секунду замерла, потом рассмеялась. Настоящим смехом, коротким и хрипловатым. Максим рядом чуть напрягся, но промолчал.

— Осторожно, Максим, — сказала Лидия. — Она стала ещё опаснее.

— Я знаю, — ответил он.

И сказал это так, что я почувствовала взгляд сразу нескольких женщин. Женщины вообще слышат не слова. Они слышат, сколько в них прошлого.

Ирина появилась через двадцать минут. Я не сразу её заметила. Она вошла не как гостья, а как тень дела: спокойная, светлая, собранная. Подошла к Максиму, что-то тихо сказала, поправила не галстук, нет — она была слишком умна для такого дешёвого жеста, — а лацкан его пиджака, убрав невидимую пылинку. Движение длилось секунду. Почти ничего. Но именно эти «почти» и разрушают женщин сильнее, чем явные измены.

Я смотрела на её пальцы у его плеча и думала: вот как это выглядит со стороны. Не любовница. Не скандал. Не гостиничный номер с сорванными простынями. Просто женщина, которая знает, что может прикоснуться к твоему мужу

при тебе и не попросить разрешения. Максим поймал мой взгляд.

Ирина тоже.

Я подняла бокал с водой и улыбнулась им обоим. Очень спокойно. Так спокойно, что внутри меня уже кто-то разбивал мебель.

Ко мне подошёл мужчина лет пятидесяти пяти, плотный, с красным лицом и взглядом человека, который привык быть неприятным за чужой счёт. Наверное, это и был Николай Ветров. У него была дорогая небрежность: расстёгнутая пуговица, слишком громкий голос, бокал в руке и уверенность, что любой разговор становится интереснее, если в нём задеть женщину.

— Ника Сергеевна, — сказал он, — вот уж не ожидал вас снова увидеть рядом с Максимом. Говорили, вы почти развелись.

— Люди много говорят. Это помогает им не думать.

Он засмеялся. Громко. Неприятно.

— Острая. Максим, ты предупреждал, но я не верил.

Максим подошёл ближе. Я почувствовала его рядом ещё до того, как он встал у моего плеча.

— Николай, — сказал он.

Ветров поднял руки.

— Да я с добром. Просто рад, что семья в сборе. Сейчас такое время, браки распадаются из-за любой мелочи. Женщины стали нервные, самостоятельные. Ушла, верну-

лась, снова ушла. Мужчинам дорого обходится женская свобода.

Вокруг стало чуть тише.

Не совсем. Никто не прекратил разговоры демонстративно, никто не повернул голову. Но воздух изменился. Как в лесу, когда где-то рядом хрустнула ветка.

Я улыбнулась Ветрову.

— Вы так говорите, будто когда-то пытались купить женскую свободу и вам не хватило денег.

У него дёрнулась щека.

— Мне всегда хватало.

— Тогда, возможно, дело было не в цене.

Максим сделал маленькое движение рукой. Не остановил меня, нет. Скорее готовился вмешаться, если Ветров решит умереть некрасиво прямо среди закусок.

— Вы забавная, — сказал Ветров. — Но будьте осторожны. Мужчины вроде Максима редко дают второй шанс просто так.

— Женщины вроде меня редко возвращаются просто так.

— Вернулись же.

Вот тут улыбаться стало сложнее.

Он попал. Не точно, но достаточно близко. Я вернулась. По договору, за деньги, за маму, за квартиру, за будущую свободу. Но для людей в этом зале нюансы не имели значения. Женщина рядом с богатым мужчиной всегда объясняется проще: либо любит, либо куплена, либо слишком умна,

чтобы уходить навсегда.

— Николай, хватит, — сказал Максим.

В голосе не было громкости. Только металл.

Ветров приподнял бокал.

— Да ладно тебе, я же по-дружески. Просто удивляюсь.

Бывшие жёны обычно уходят дорого. А возвращаются ещё дороже.

Всё.

Вот в этот момент что-то внутри меня стало прозрачным и холодным. Не больно даже. Просто ясно. Я могла ответить. Очень хотела. У меня уже стояла на языке фраза, после которой у Ветрова на неделю испортился бы аппетит. Но Максим оказался быстрее.

Он взял меня за руку.

Не резко. Не властно. Спокойно, но так, что зал это увидел. Потом повернулся ко мне и сказал:

— Ника, прости.

Я не успела спросить за что.

Он поцеловал меня.

На людях.

Перед Ветровым, Ириной, Лидией Елисеевой, десятком гостей и всеми слухами, которые уже раскрыли пасти, чтобы проглотить нас обоих.

Это не был милый супружеский поцелуй для приличной картинки. Не касание губ, не знак, не вежливая точка в разговоре. Максим поцеловал меня так, будто на секунду забыл,

где мы. Или, что хуже, слишком хорошо помнил и всё равно решил сжечь комнату изнутри.

Его ладонь легла мне на спину, туда, где платье открывало кожу. Тёплая. Твёрдая. Совершенно настоящая. Я должна была оттолкнуть его. Должна была наступить ему на ногу, ударить бокалом, прошипеть «ты с ума сошёл» — что угодно. Вместо этого я замерла, а потом моё тело, подлая древняя часть меня, которую не интересовали ни договоры, ни обиды, ответило раньше головы.

На одну секунду.

Всего на одну.

Но этой секунды хватило, чтобы прошлое вернулось не воспоминанием, а кожей.

Когда он отстранился, в зале снова стало шумно. Слишком шумно. Люди заговорили разом, как будто им всем срочно понадобилось доказать, что они ничего не видели. Ветров смотрел на нас с натянутой улыбкой. Ирина стояла у дальней стены с папкой в руках. Бледнее обычного. Чуть-чуть. Но я заметила. Лидия Елисеева пила воду и улыбалась так, будто вечер наконец перестал быть скучным.

Я посмотрела на Максима.

— Поцелуи не входили в договор, — сказала я тихо.

— Унижение моей жены тоже.

Моей жены.

Два слова, от которых нужно было злиться. Я и злилась. Очень. Просто злость почему-то шла вперемешку с жаром,

который до сих пор стоял на губах.

— Не смей использовать меня, чтобы доказывать что-то своим знакомым.

— Я не доказывал.

— А что это было?

Он посмотрел на Ветрова, потом снова на меня.

— Я не позволю им говорить о тебе так.

— Поздновато вспомнил, что я не вещь.

Он не ответил. И правильно. На некоторые фразы не бывает хорошего ответа, если ты действительно виноват.

До конца вечера я держалась.

Улыбалась, отвечала, шутила, даже один раз рассмешила Лидию историей о том, как Максим в первый год брака пытался приготовить мне завтрак и сжёг тосты так, что охрана решила, будто в доме пожар. Максим стоял рядом, слушал и смотрел на меня с выражением, от которого хотелось одновременно продолжать и замолчать. Ирина больше не подходила. Ветров тоже. Маленькая победа. Жалкая, липкая, купленная чужим поцелуем, но всё-таки победа.

На обратном пути мы молчали.

На этот раз молчание было тяжёлым по-настоящему. Не из-за обид. Из-за того, что между нами теперь сидел третий пассажир — тот поцелуй. Наглый, горячий, публичный, неправильный. Он устроился между нами на кожаном сиденье и, кажется, чувствовал себя прекрасно.

Я смотрела в окно на мокрые огни.

— Ты не должен был этого делать, — сказала я наконец.

— Знаю.

— Правда? А выглядело так, будто ты очень быстро вошёл во вкус.

— Ника.

— Нет. Послушай. Я понимаю правила. На людях мы изображаем супругов. Улыбаемся. Стоим рядом. Возможно, иногда терпим прикосновения, чтобы твои людоеды не подавились слухами. Но целовать меня так, будто ты имеешь право...

Я осеклась.

Потому что он повернулся ко мне, и в полумраке машины его лицо было слишком близко к тому, которое я помнила из ночей, когда ещё не знала, что любовь умеет умирать в богатом доме от недостатка голоса.

— Я не имею права, — сказал он.

Тихо.

Без защиты.

— Вот именно.

— Но я хотел.

Сердце ударило не туда. Глупое, бесполезное, продажное сердце.

Я отвернулась к окну.

— Хотеть не запрещено. Действовать запрещено.

— Учту.

— Нет, Максим. Не «учту». Это не замечание к договору.

Это граница.

— Хорошо.

— И не смей говорить это своим новым спокойным голосом, будто ты уже всё понял и стал нормальным человеком.

Он почти улыбнулся.

— А если стал?

Я повернулась к нему.

— Тогда мне придётся начать бояться сильнее.

Машина остановилась у дома.

Я вышла первой. Каблуки стукнули по мокрым плитам. Воздух был холодный, после тёплого зала и душной машины он ударил в лицо почти честно. Я прошла в дом, поднялась по лестнице, не дожидаясь Максима, и только у двери кабинета поняла, что он идёт следом.

— Спокойной ночи, Ника, — сказал он.

Я обернулась.

Он стоял в коридоре. Тёмный, усталый, слишком красивый для моей нервной системы и слишком виноватый для моей ненависти. На губах ещё жила память о нём. Я чувствовала её, как чувствуют ожог после того, как убрали руку.

— Следующий поцелуй, — сказала я, — будет только если я сама решу.

Он посмотрел на меня долго. Очень долго.

— Тогда я буду ждать, — сказал Максим.

И ушёл.

А я закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и впервые

за весь день испугалась не Ирины, не Ветрова, не договора и не возвращения в этот дом.

Я испугалась себя.

Потому что на одну маленькую, позорную секунду мне захотелось открыть дверь и сказать:

«Жди не слишком долго».

Глава 5. Гостиница

Утром фотография нашего поцелуя уже жила отдельной жизнью.

Она была мутной, снятой с другого конца зала, но достаточно ясной, чтобы все желающие увидели: Максим держит меня за талию, я не бью его бокалом, а Ветров на заднем плане выглядит человеком, которому впервые за вечер не дали договорить гадость.

Марта позвонила раньше, чем я успела умыться.

— Орлова, почему я узнаю о твоём браке из деловой подборки?

— Потому что мой брак теперь относится к экономике.

— Судя по фотографии, к тяжёлой промышленности.

Я села на узком диване и посмотрела на лист с правилами. «Не ревновать Максима» выглядело особенно бодро. «Не спать с мужчиной, с которым разводишься» пока сохраняло достоинство, но уже нервничало.

— Это был спектакль, — сказала я.

— Ты всегда так отвечаешь на спектакль губами?

— Ветров хамил.

— И Максим решил закрыть вопрос ртом.

— Марта.

— Молчу. Но только потому, что хочу услышать правду. Тебе понравилось?

Я посмотрела на серое окно.

— Мне понравилось, что Ветров замолчал.

— Ника.

— И что Ирина побледнела.

— Ника.

— Сам поцелуй был ошибкой Максима.

— А ты эту ошибку не сразу исправила.

Я отключилась, прежде чем подруга перешла к анатомически точным формулировкам.

На кухне Максим сидел с кофе и открытым ноутбуком. На экране была схема старого речного вокзала — серое здание, которое его компания четыре года пыталась превратить в городской культурно-образовательный центр. На первом этаже планировались мастерские и библиотека, выше — аудитории и общественные пространства. Проект был слишком большим, слишком публичным и слишком дорогим, чтобы люди вроде Ветрова позволили ему существовать без драки.

— Вот из-за чего тебе понадобилась жена? — спросила я, кивнув на экран.

Максим закрыл ноутбук.

— В том числе. Через месяц совет голосует за передачу здания и финансирование. Ветров хочет проект себе. Развод дал бы ему повод говорить, что у меня нет стабильности даже дома.

— А поцелуй дал повод деловым изданиям обсуждать мой рот вместо речного вокзала.

— Да.

— Великолепная стратегия.

Он отодвинул чашку.

— Между мной и Ириной ничего не было.

Фраза прозвучала без подготовки. Та самая, которую я ждала в ночь после гостиницы, на следующий день, через неделю, когда собирала вещи. Теперь она легла между кофе и схемой проекта и оказалась почти просроченной.

— Поздно, — сказала я.

— Я понимаю.

— Нет. Ты думаешь, «поздно» — это когда можно было сказать раньше. А поздно — это когда женщина уже построила себе версию, в которой ты изменил, потому что эта версия хотя бы объясняет, почему ей так больно.

— Я был в гостинице по работе.

— С Ириной.

— Да.

— Она держала тебя за рукав.

— Да.

— И смотрела так, будто имеет право.

Максим не стал защищаться.

— Я позволил ей быть слишком близко.

Честность ударила сильнее лжи.

— Зачем?

Он посмотрел на закрытый ноутбук.

— С ней было проще. Она приносила бумаги, я принимал

решения. Ей не нужно было, чтобы я говорил, чувствовал или признавал, что не справляюсь. Рядом с ней можно было оставаться функцией.

— А рядом со мной приходилось быть человеком?

— Да.

Я усмехнулась, но смех не получился.

— Ты не изменил мне с Ириной. Ты изменил мне с удобством.

Максим вздрогнул. Совсем немного. Достаточно.

Я взяла пальто и уехала в мастерскую.

Там пахло картоном, пылью и моей жизнью, которая пока ещё не умела оплачивать себя полностью, но хотя бы принадлежала мне. Марта сидела на полу среди коробок и ела яблоко.

— Ну?

— Между ними ничего не было.

— И тебе стало легче?

— Нет. Оказалось, постель была бы проще.

Я рассказала про удобство. Про функцию. Про речной вокзал, Ветрова и совет.

Марта выслушала, потом сказала:

— Ты хотела одного виноватого. А получила мужчину, который спрятался в работе, женщину, которая согласилась быть рядом без требований, и себя, которая слишком долго молчала. Некрасиво. Зато похоже на жизнь.

— Я пришла работать, а не получать диагноз.

— Тогда возьми список поставщиков. Он хотя бы врёт скучнее.

К вечеру я почти успокоилась. Мы разобрали книги, договорились о первых встречах и посчитали, сколько нужно продать абонементов на книжный клуб, чтобы аренда перестала висеть на мне как приговор. Цифры пока выглядели худыми, но уже не мёртвыми.

Дом встретил меня голосами из столовой.

— Вчерашний поцелуй обсуждает совет, — сказала Ирина. — Ветров именно этого и добивался. Она мешает тебе сосредоточиться.

— Не тебе это решать, — ответил Максим.

Я остановилась в коридоре.

— Я предупреждаю. Тебе нужна стабильность, а не вторая волна слухов.

— Осторожнее, Ирина.

— С чем?

— С ней.

Пауза.

— Ты защищаешь её, даже когда её нет рядом.

— Да.

— Она всё равно уйдёт.

Максим молчал долго.

Потом сказал:

— Тогда в этот раз я хотя бы не сделаю вид, что не заметил.

Я закрыла глаза.

Ирина вышла первой и сразу увидела меня. По её лицу ничего нельзя было прочесть, кроме одного: она поняла, сколько я слышала.

— Ваше возвращение создаёт сложности, — сказала она.

— Моя жизнь часто создаёт сложности людям, привыкшим раскладывать чужие судьбы по папкам.

— Я на его стороне.

— Это заметно.

— А вы?

Вопрос попал слишком точно. Я не ответила.

Ирина прошла к выходу, но у двери остановилась.

— Иногда быть рядом — не то же самое, что быть на стороне человека.

Она ушла.

Максим появился в коридоре через минуту.

— Ты слышала.

— Достаточно.

— Ника...

— Не сейчас.

Я поднялась наверх, достала лист с правилами и жирно обвела второе: «Не ревновать Максима». Ниже добавила: «Особенно когда очень хочется».

Утром я спустилась на кухню раньше него.

Когда Максим вошёл, я не стала ждать кофе, хорошего момента и нового приступа его запоздалой честности.

— Гостиница, — сказала я.

Он сел напротив.

— Савельев хотел выйти из проекта речного вокзала и забрать команду. Встретаться согласился только там. Ирина вела документы. После разговора я был в ярости. В холле она остановила меня и сказала, что в таком состоянии я поеду домой и сорвусь на тебе.

— Очень заботливо.

— Практично. Она была права.

— И вместо того чтобы сорваться, ты приехал и промолчал.

— Да.

— Из двух способов ранить жену выбрал тот, который не оставляет синяков.

Он принял фразу без привычной защиты.

— Почему ты не объяснил потом? — спросила я. — Когда я собирала вещи. Когда стояла у двери. Почему не сказал, что не изменял?

Максим долго смотрел на стол.

— Потому что ты могла остаться.

— И это должно звучать благородно?

— Нет. Я струсил. Если бы убрал Ирину из разговора, пришлось бы отвечать на всё остальное. На годы, когда я не приходил домой. На ужины, которые ты убирала одна. На то, что ты стала тише, а я сделал вид, будто это спокойствие. Я не знал, что с этим делать, поэтому позволил тебе уйти с

удобной причиной.

Я встала так резко, что стул скрипнул.

— Ты не имел права решать, с какой правдой мне легче уходить. Даже мою боль ты организовал за меня.

— Да.

— Не соглашайся.

— Тогда поспорить?

— Нет.

— Я не знаю, как с тобой сейчас правильно, Ника. Если говорю — поздно. Если молчу — повторяю старое. Если помогаю — покупаю. Если отступаю — оставляю одну.

Он произнёс это неровно, без красивой уверенности. Последняя фраза почти сорвалась, и именно поэтому я услышала.

— Начни с простого, — сказала я. — Не решай, что мне лучше.

— Постараюсь.

— Плохой ответ.

— Зато мой.

В холле появилась Ирина. Конечно, с папкой.

— Вопрос срочный, — сказала она Максиму.

— Подождёт.

Её пальцы чуть сильнее сжали папку.

Мне не стало приятно. Я слишком хорошо знала вкус слова, которым тебя отодвигают.

— Не надо делать из меня причину, по которой ты уни-

жаешь другого человека, — сказала я.

Максим нахмурился.

Ирина посмотрела на меня внимательнее.

— Вы считаете меня частью вашей семейной катастрофы, — произнесла она. — Это удобно. Но женщина иногда уходит не потому, что появилась другая. Иногда она слишком долго соглашалась быть невидимой.

Кровь ударила в лицо.

— А другая иногда слишком долго стоит рядом и называет себя просто полезной.

Ирина побледнела, но не отвернулась.

— Возможно.

В этот момент наверху что-то упало.

Керамическая лиса лежала на полу, расколотая на три части. Окно было приоткрыто, штора двигалась от сквозняка.

Я опустилась на колени и начала собирать осколки. Один впился в палец.

— Дай руку, — сказал Максим.

— Не командуй.

Он вышел и вернулся с аптечкой. Не забрал мою ладонь. Просто положил рядом салфетку.

Мы сидели на полу втроём: я, Максим и разбитая лиса, которая пережила наш брак не лучше нас.

— Куплю новую, — сказал он.

— Такой же не будет.

— Тогда склеим эту.

— Всё склеить нельзя.

— Понимаю.

Я посмотрела на него.

— Опять.

— Тогда скажу честно: не знаю, получится ли. Но хочу попробовать хотя бы с лисой.

Телефон дрогнул на столе.

Звонил мамин врач.

Через минуту я уже не думала ни о гостинице, ни об Ирине, ни о речном вокзале. Маму оставляли в стационаре. Нужны были обследования, наблюдение, возможно, дополнительное лечение.

— Я сейчас приеду, — сказала я и отключилась.

Максим взял моё пальто.

— Поехали.

Я хотела сказать, что справлюсь сама. Но пальцы дрожали, а в голове стояло мамино «Никуша».

— Максим...

— Я здесь.

И в первую секунду настоящего страха я поверила ему.

Глава 6. Я здесь

В больницу мы ехали молча.

Не потому, что говорить было не о чем. Как раз наоборот. В машине сидело слишком много слов: гостиница, Ирина, договор, мама, разбитая лиса, кровь на моём пальце, его «я здесь», сказанное так спокойно, будто он имел на это право. Я держала телефон в руке, хотя врач уже всё сказала. Мама оставили под наблюдением. Давление. Слабость. Нужно обследование. Ничего катастрофического, если верить голосу Елены Викторовны, но врачи вообще умеют произносить тревожные вещи так, будто читают список покупок. «Не волнуйтесь» от врача звучит примерно как «пожар локализован» от человека, который стоит на фоне дыма.

Максим сидел рядом. Не звонил, не отдавал распоряжений, не требовал у водителя ехать быстрее, не превращал мой страх в деловую задачу. Просто был рядом. Это раздражало почти сильнее, чем если бы он начал командовать. С командующим Максимом я знала, что делать: спорить, отбиваться, кусаться, вставать поперёк. А с молчащим человеком рядом, который видит, что тебе страшно, и не лезет в твою боль руками, было сложнее. Неловко даже. Как будто мне дали тёплое одеяло, а я всю жизнь тренировалась мерзнуть красиво.

— Ты можешь не ехать со мной, — сказала я, не глядя

на него.

— Могу.

— Но едешь.

— Да.

— Почему?

Он помолчал.

— Потому что ты дрожишь.

Я резко посмотрела на свои руки. Пальцы действительно дрожали. Тонко, противно, будто внутри меня завели маленький моторчик страха. Я сжала телефон сильнее.

— Не дрожу.

— Ладно.

— Не соглашайся так быстро. Это унинительно.

— Хочешь, поспорю?

— Нет.

— Тогда хорошо.

Я почти улыбнулась, но вовремя вспомнила, что ситуация не располагает к улыбкам, особенно в машине бывшего мужа, который за последние сутки успел поцеловать меня при свидетелях, признаться в трусости, отодвинуть Ирину, предложить склеить лису и теперь ехал со мной к маме так, будто всё это было обычным вторником в жизни двух психически устойчивых людей. Мы оба такими не были. Просто Максим лучше маскировался. Больница встретила запахом лекарств, мокрой одежды и человеческой беспомощности. В богатых домах всё пахнет воском, деревом и чужими

деньгами. В больницах пахнет правдой. Не высокой, не философской, а самой обычной: тело ломается, близкие бледнеют, врачи устают, а все красивые планы вдруг сворачиваются до одного вопроса — дышит ли человек, которого ты любишь.

Я вышла из машины слишком быстро и сразу пожалела. Ноги стали ватными. Максим успел подхватить меня за локоть, но не удержал насильно. Просто коснулся, дал опору и тут же отпустил, когда я выпрямилась. Маленькая вещь. Почти ничего. Но я заметила. Всё, что он теперь делал не как раньше, я замечала с мучительной точностью.

— Я сама, — сказала я.

— Знаю.

— Тогда не надо хватать.

— Я не хватал.

— Ладно. Не надо быть рядом слишком полезно.

Он посмотрел на меня с усталой мягкостью.

— Постараюсь быть бесполезным.

— Вот. Наконец-то цель, достойная нашего брака.

В приёмном отделении былолюдно. Женщина в пуховике ругалась с регистратурой. Мужчина с перевязанной рукой сидел на пластиковом стуле и смотрел в пол. Пожилая пара тихо спорила у окна: он хотел домой, она называла его упрямым козлом и гладила по плечу так нежно, что от этого становилось больнее, чем от ругани. Я подошла к стойке, назвала фамилию мамы и почувствовала, как голос сорвался на

последнем слог.

— Я дочь. Орлова Ника Сергеевна. Мне звонила Елена Викторовна.

Женщина за стойкой посмотрела в бумаги.

— Терапевтическое отделение, третий этаж, палата двенадцать. Врач сейчас на обходе, подождите в коридоре.

— Я могу к ней?

— На десять минут. Потом врач скажет.

— Что значит «скажет»? Я дочь.

— Девушка, я понимаю, но правила...

Я уже набрала воздух. Внутри поднималось всё сразу: страх, злость, больница, договор, Максим, лиса, чужой сухой голос, слово «правила», которое в этот день звучало особенно мерзко. Я собиралась сказать что-то резкое. Очень. Но Максим оказался рядом.

— Спасибо, — сказал он женщине за стойкой. — Мы подождём и врача.

Я повернулась к нему.

— Я могла сама.

— Могла. Но ты сейчас хотела порвать человека, который не виноват.

— Иногда это помогает.

— Ненадолго.

— Не учи меня гуманизму в больнице.

— Не учу.

Он говорил тихо, и я вдруг поняла, что если сейчас начну

ругаться с ним, то просто расплачусь. А плакать в больнице я не хотела. В больницах слёзы сразу становятся слишком настоящими. Их не спрячешь за шуткой, платьем, помадой или злостью. Они падают — и всё. Ты уже не женщина с язвительным голосом, а чья-то дочь у стойки, которая боится подняться на третий этаж.

Мама лежала у окна.

Маленькая. Вот первое, что я подумала. Какая она маленькая. В жизни мама была не маленькой. Она была деловой, тёплой, упрямой, с вечным «не надо тратить» и способностью из трёх картофелин приготовить ужин, за который хотелось обнять весь мир. А в больничной палате она вдруг стала тонкой, почти девочкой, с бледным лицом и руками поверх одеяла. На тумбочке стоял стакан воды, рядом лежала её коричневая сумка. Та самая, с валерьянкой в боковом кармане. У меня в горле что-то сжалось.

— Мам, — сказала я.

Она повернула голову и сразу попыталась улыбнуться. Это меня чуть не добило.

— Никуша. Ну ты чего такая? Я же сказала, не надо приежжать сломя голову.

— Конечно. Тебя оставили в больнице, а я должна была дома варить гречку и размышлять о погоде.

— Не язви у постели больной матери, дурочка.

Голос слабый, но интонация живая. Я выдохнула. Наклонилась, поцеловала её в щёку. От неё пахло лекарствами и

маминым кремом для рук. Этот запах был таким родным, что я едва не распалась на месте.

Мама посмотрела за моё плечо.

— Максим?

Я забыла, что он вошёл следом.

Он стоял у двери, не приближаясь, с моим пальто на руке. В больничном свете его дорогой костюм выглядел почти нелепо. Как случайно занесённая сюда другая жизнь. Но лицо было спокойным. Сдержанным. Без той привычной уверенности, от которой раньше мне хотелось спорить.

— Здравствуйте, Елена Павловна, — сказал он.

Мама смотрела на него долго.

Слишком долго.

Потом сказала:

— Вы похудели.

Я закрыла глаза.

— Мам.

— Что «мам»? Человек похудел. Я вижу.

Максим впервые за весь день растерялся. Не сильно, но достаточно, чтобы я заметила. На секунду он перестал быть Максимом Громовым и стал мужчиной, которого тёща застала у больничной двери с пальто бывшей жены в руках и непонятым выражением лица.

— Немного, — сказал он.

— Плохо едите?

— Наверное.

— Вот. Богатые люди почему-то всегда плохо едят. Денег много, а супа нормального нет.

— Мам, ты лежишь в больнице, а не проводишь проверку питания Максима.

— Так я пока лежу, пользуюсь случаем. Потом вы меня домой отправите, и опять никто ничего не расскажет.

Я села рядом с кроватью и взяла её руку. Она была холодная. Я растёрла пальцы, стараясь делать это спокойно, не слишком крепко, чтобы она не поняла, как мне страшно.

— Что врач сказал?

— Сказал, что я упрямая.

— Это диагноз наследственный.

— Не умничай. Давление поднялось, слабость. Оставили посмотреть. Вот и всё.

— «Вот и всё» — это когда чай остыл. А не когда тебя кладут в больницу.

Мама улыбнулась уголком губ.

— Ты вся на нервах.

— Я в порядке.

— Ты в порядке только на словах. И то плохо.

Я почувствовала взгляд Максима. Не пристальный, не тяжёлый, но внимательный. И это снова было почти невыносимо. Потому что мама видела меня насквозь всегда. А Максим вдруг начал видеть сейчас, когда я уже собиралась жить без его взгляда.

— Максим, — сказала мама неожиданно.

— Да?

— Вы её довезли?

— Да.

— И не командовали?

Он слегка кашлянул.

— Старался.

— Хорошо. С ней командовать бесполезно. Она потом делает всё наоборот, даже если хотела так же.

— Мам!

— Что? Правда. Ты в восемь лет назло мне надела две разные варежки и ходила так неделю.

— Это был образ.

— Это была простуда.

Максим опустил глаза, но я увидела, что он улыбается. Почти незаметно. И, что ужасно, мне стало тепло. Вот прямо в больничной палате, среди лекарственного запаха, белых стен и маминой слабой руки в моей ладони, мне стало тепло от того, что они оба помнят меня живой. Не сильной. Не правильной. Не удобной. Просто живой: с разными варежками, плохим характером и вечной попыткой доказать, что я сама.

Врач пришла через несколько минут. Елена Викторовна оказалась женщиной лет сорока с усталым лицом и уверенным голосом. Она объяснила, что нужно дообследование, несколько дней наблюдения, лекарства, возможно, потом дополнительное лечение. Я слушала, кивала, пыталась задавать разумные вопросы и одновременно чувствовала, как внутри

всё проваливается в цифры. Деньги. Сроки. Анализы. Палата. Уход. Мастерская. Договор. Максим.

— Мы можем перевести её в отдельную палату? — спросил он.

Я повернулась к нему так резко, что врач замолчала.

— Максим.

— Я спрашиваю врача.

— А я спрашиваю тебя: ты сейчас опять решил?

Он не отвёл взгляд.

— Нет. Я предлагаю.

— Предлагать можно мне.

Пауза вышла нехорошая. Врач смотрела то на меня, то на него с выражением человека, который за годы работы видел семейные сцены у больничных коек в таких количествах, что мог бы преподавать отдельный предмет «как родственники сходят с ума на ровном месте».

Максим повернулся ко мне полностью.

— Ника, хочешь, я узнаю про отдельную палату?

Я молчала.

Вопрос был задан правильно. Вот в чём беда. Не «я переведу», не «так будет лучше», не «не спорь». Хочешь? Он спросил так, будто моё желание теперь действительно должно было появиться в комнате раньше его решения.

Я ненавидела, что это сработало.

— Хочу, — сказала я. — Но сначала спросим маму.

Мама, которая до этого лежала с видом человека, давно

всё понявшего про нас обоих, подняла брови.

— Мама хочет домой, борща и чтобы вы перестали разговаривать при враче как два адвоката на похоронах.

— Елена Павловна, домой пока рано, — сказала врач.

— Я заметила, что меня никто не спрашивает.

— Мы как раз спрашиваем, — сказал Максим.

Мама посмотрела на него внимательно.

— Отдельная палата — это дорого.

— Я оплачу.

— Вот это как раз меня и смущает.

Я опустила глаза. Ну конечно. Моя мать могла лежать бледная, слабая, под капельницей, но всё равно первым делом думать, как бы не стать кому-то неудобной. Я была похожа на неё гораздо сильнее, чем мне хотелось признавать. Просто у меня неудобство пряталось за грубостью, а у неё — за вежливостью.

— Мам, — сказала я, — пожалуйста. Мне так будет спокойнее.

Она посмотрела на меня.

Вот это было честнее любых уговоров. Не «тебе надо», не «так лучше», не «мы решили». Мне будет спокойнее. Мама умела терпеть ради себя, но плохо умела отказывать, если её здоровье становилось чьим-то спокойствием.

— Ладно, — сказала она. — Но я потом верну.

— Конечно, — сказал Максим.

Я бросила на него взгляд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.